К63.3(1-75
Д-797
-762/792-

Я. П. Дуброва

БЫТ КАЛМЫКОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

К63.3/-75
Д-797

Серия "Наше наследие"

Я. П. ДУБРОВА

БЫТ КАЛМЫКОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

Центральная
Экземпляр
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛМЫЦКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО г. Элиста

Элиста
Калмыцкое книжное издательство
1998

ББК 63.3(2)5
Д 297

Областная библиотека
Национальная библиотека

Д $\frac{0800020400-001}{М\ 126(04)-98}$ 2 — 98

ISBN 5-7539-0378-9

© Батмаев М. М., предисловие, 1998.
© Калмыцкое книжное издательство, 1998.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Калмыцкое книжное издательство продолжает серию ''Наше наследие'' выпуском труда Якова Павловича Дубровы ''Быт калмыков Ставропольской губернии''. В этой серии уже вышли труды Н. Я. Бичурина (Иакинфа) ''Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени'' (Элиста, 1991), Н. Н. Пальмова ''Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в России'' (Элиста, 1992), А. М. Позднеева ''Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего последнего к народу'' (Элиста, 1993), В. М. Бакунина ''Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и владельцев'' (Элиста, 1995).

Труд Я. П. Дубровы, действительного члена Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете, был издан в Известиях этого общества в 1899 году (том XV, вып. 1—2). А отдельной книгой труд Я. П. Дубровы выходит впервые в Калмыцком книжном издательстве.

При подготовке труда Я. П. Дубровы к выпуску в свет Калмыцкое книжное издательство перевело текст автора на современное написание и правописание, сохранив при этом стиль, лексику, во многом синтаксис оригинала, а также многочисленные выделения курсивом.

Издательство также сочло нужным дать несколько своих примечаний, а также снабдить издание вступительной статьей историка М. М. Батмаева.

Издательство выражает благодарность писателю А. Б. Бадмаеву, предоставившему труд Я. П. Дубровы для издания.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Труд Я. П. Дубровы, который впервые издается Калмыцким книжным издательством в книжном варианте, увидел свет немногим менее ста лет назад. По общеисторическим меркам время не такое уж большое, но сколько за этот период пережили народы бывшей Российской империи: три революции, две мировые и гражданскую войны, индустриализацию, коллективизацию, ГУЛАГи, перестройку и т. д. и т. п. Калмыцкому народу, о бывшей административной (ставропольской) части которого идет речь в предлагаемой вниманию читателей работе, кроме всего прочего выпало еще одно страшное испытание — насильственное переселение. С этой точки зрения можно сказать, что со времени выхода работы Я. П. Дубровы много воды утекло, многое, о чем он повествует, безвозвратно кануло в Лету.

После сказанного читатель вправе задать вопрос: нужно ли переиздавать работу, повествующую о реалиях ''давно минувших дней'', к тому же отражающих краткий исторический отрезок жизни сравнительно небольшой части тогдашнего калмыцкого населения? Отвечая на поставленный вопрос, необходимо остановиться на обстоятельствах создания работы и на ее содержании.

К сожалению, об авторе на данный момент известно немногое. Сам он упоминает на страницах своего труда, что в 1883 г. побывал в Монголии, где встречался с потомками волжских калмыков, ушедших из пределов России в 1771 г. Знаком был Я. П. Дуброва, судя по всему, и с жизнью бурят, так как в 1885 г. в приложении к газете ''Сибирь'' опубликовал очерк ''Женщина у монголо-бурят''. Появление его в Большедербетовском улусе связано с устройством в 1889 г. Князе-Михайловского миссионерского стана, в котором Я. П. Дуброва, по его же словам, принимал непосредственное участие. Известно также, что непродолжительное время в том же 1889 г. он занимал должность псаломщика, после чего работал учителем церковно-приходской школы и, наконец, был членом попечительского совета или же даже помощником попечителя улуса.[1]

[1] Часть сведений по биографии Я. П. Дубровы любезно сообщены мне историками Н. В. Борисенко и С. С. Белоусовым, за что выражаю им свою признательность.

Прожив в улусе более пяти лет, он выехал из него в первой половине 1894 г., увозя с собой свои наблюдения, впечатления, копии ряда документов и, возможно, дневниковые записи. Поселившись в Казани и будучи действительным членом Общества археологии, истории и этнографии при местном университете, Я. П. Дуброва выступил с сообщениями о собранном материале на общих собраниях общества 28 ноября и 20 декабря 1897 г. и 27 января 1898 г. В следующем году текст сообщений, дополненный рядом исторических сведений, был издан в Казани.

Я. П. Дуброва не был пионером в освещении быта и хозяйственно-административного положения калмыков Большедербетовского улуса. Улус вошел в состав Ставропольской губернии в 1860 г., а уже во второй половине 60-х гг. появились работы, посвященные отдельным сторонам жизни населения улуса.[1] Я. П. Дуброва не упоминает о своих предшественниках — кстати сказать, не только писавших о Большедербетовском улусе, но и вообще о всех калмыках — вполне возможно, что их работы были ему неизвестны. Вместе с тем труд Я. П. Дубровы выгодно отличается от работ его предшественников попыткой комплексного охвата различных сторон и проблем жизни калмыков рассматриваемого им улуса.

Содержание его труда можно условно разделить на три части: историческую, этнографическую и хозяйственно-административную. Историческая часть не выдерживает даже самой снисходительной критики. Помимо ошибок фактологического характера, здесь мы найдем утверждения, что калмыки ''до сих пор не пережили родового быта'' (С. 31), что Хо-Орлюк, ''предводительствуя воинственными калмыками, задумал восстановить угасшую Золотую Орду и сосредоточить управление народом в г. Астрахани'' (С. 39), что с момента прихода в Россию и до 1771 г. ''калмыцкая орда'' существовала ''без подразделения ее на более или менее дробные административные единицы с особенными названиями таковых'' (С. 18). Столь же бездоказательны заявле-

[1] Ланко П. З. Отрывки из записок о калмыках Большедербетовского улуса. // Сборник статистических сведений о Ставропольской губ. Ставрополь, 1868.

Бентковский И. В. Жилище и пища калмыков Большедербетовского улуса. // Сборник статистических сведений о Ставропольской губ. Ставрополь, 1868. В этом же сборнике были опубликованы еще две его статьи: ''Одна из причин, задерживающих развитие коннозаводства в Большедербетовском улусе'' и ''Воды и степи Большедербетовского улуса соответствуют ли условиям колонизации калмыков?''

Львовский Н. (иеромонах Мефодий). Калмыки Большедербетовского улуса Ставропольской губернии. Казань, 1884.

ния о "разбойнических инстинктах дикой и своевольной калмыцкой орды" (С. 11) и что "начало семидесятых годов прошлого столетия следует считать концом более или менее самостоятельной, хотя и вредной для соседей, исторической жизни калмыцкого народа" (С. 41).

Венцом подобных надуманных рассуждений является поразительное, принадлежащее только нашему автору утверждение, что сословия нойонов и зайсангов были искусственным образом созданы русским правительством, рассчитывавшим через них подчинить своей власти весь калмыцкий народ. Впрочем, этот вывод не столь уж удивителен, если вспомнить, что Я. П. Дуброва считал калмыцкое общество родоплеменным (С. 95—96). Справедливости ради надо отметить, что подобные взгляды были присущи и более маститым предшественникам нашего автора.

Этнографическая часть работы более объективна; да это и понятно, так как здесь Я. П. Дуброва выступает очевидцем, непосредственно наблюдавшим быт калмыков в конце XIX в. Этнографические известия его не блещут особой новизной и были известны по работам его предшественников, кроме упоминаемого им странного обычая, позволяющего легально нарушать супружескую верность (С. 52). В других известных нам источниках и литературе об этом обычае не говорится; вполне возможно, что Я. П. Дуброва что-то здесь не так понял. В целом историко-этнографическая часть данной работы не даст читателю, более или менее знакомому с основной литературой о прошлом калмыцкого народа, почти ничего нового и существенного.

Наиболее ценной в труде Я. П. Дубровы является третья часть, где автор весьма эмоционально описывает хозяйственно-бытовое и административное положение калмыков Большедербетовского улуса в конце XIX века; именно эта часть оправдывает, а лучше сказать, делает необходимым переиздание всей работы. Я. П. Дуброва очень сочувственно, не жалея для создаваемой им картины мрачных красок, рисует бедственное положение, в котором оказались народные массы калмыцкого населения улуса. Он выдвигает несколько причин, приведших большедербетовцев к печальному состоянию: непродуманная, хаотичная политика центрального правительства; корыстолюбие, самодурство и равнодушие местной царской администрации; хищническая колонизация лучших улусных земель выходцами из различных губерний России; неумеренная эксплуатация со стороны нойонов и зайсангов.

Здесь нет необходимости останавливаться на пересказе содержания работы Я. П. Дубровы, заинтересованный читатель имеет теперь возможность самостоятельно познакомиться с ней. Вместе с тем нельзя не сделать ряд замечаний общего характера, которые

помогут, на наш взгляд, уяснить подход автора к выбранной им теме и сделать из него частные выводы.

Говоря об упадке скотоводства и традиционных промыслов, Я. П. Дуброва не замечает или не хочет замечать, что этот кризис, кроме всего прочего, вызван был развитием товарно-денежных отношений, распространением капиталистических отношений вширь. Все больше нуждаясь в деньгах для уплаты податей и покупки хозяйственно-бытовых предметов и продуктов питания, калмыки вынуждены были продавать (часто по низким ценам) все большее количество скота и продуктов скотоводства. Изделия традиционных промыслов не могли тягаться с более дешевыми производимыми российскими фабриками изделиями, тканями и т. д.

Автор нарисовал реалистическую картину неприглядных, мягко говоря, действий крестьян-колонистов, при попустительстве местной царской администрации правдами и неправдами расхищавших лучшие земли улуса, оставляя калмыцкому населению солончаки и прочие малопригодные земли. Будучи правдивым в данном случае, Я. П. Дуброва опять же ни одним словом не обмолвливается, что крестьян из различных губерний России, из веками населенных мест гнали безземелье и нищета. Ограбленные помещиками по реформе 1861 г., русские и украинские крестьяне стали грабить инородцев, а правительство смотрело на это сквозь "перстов", будучи заинтересовано в ослаблении социальной напряженности в центральных губерниях.

Я. П. Дуброва очень сочувственно описывает неприглядный и ухудшающийся быт большедербетовских калмыков (большая часть их собратьев в Астраханской губернии жила не лучше их), но делает это скорее не из-за альтруистических побуждений. Хотя он довольно сурово отзывается о бестолковости прежних административных установлений правительства и справедливо пишет об их малой эффективности, тем не менее он и сам продолжает уповать на то же самое администрирование. Весь негодующий пафос его направлен лишь на доказательство того, чтобы "именно теперь пополнить пробел в деле изучения быта калмыков во всех его проявлениях и тем так или иначе прийти на помощь администрации, занятой в настоящее время вопросом о коренном переустройстве экономического и правового положения этого народа" (С. 16—17). Мы знаем, что это коренное переустройство произошло не так скоро и не на той почве, на которую уповал Я. П. Дуброва.

Все сказанное не умаляет общего значения труда Я. П. Дубровы. Никто до него не писал так сочувственно о калмыках, никто с такой смелостью не раскрывал причин их бедственного

положения, никто так настойчиво не призывал искать пути их материального и духовного возрождения. Пусть в своих некоторых рекомендациях и выводах он ошибался, но это были ошибки на пути искренне заинтересованного поиска выхода к лучшей жизни. Картины прошлого, нарисованные добросовестным очевидцем, помогут и читателю, и исследователю составить правдивую историческую панораму развития калмыцкого народа. Это тем более необходимо сейчас, когда в обществе ощущаются не всегда оправданные попытки приукрашивания прошлого, некритическое отношение к определенным социально-экономическим, политическим и культурно-бытовым реалиям давно минувших дней. Работа Я. П. Дубровы всем своим содержанием говорит нам — не было позади ''золотого века'', но она же убеждает нас, что наш народ в конечном счете не поддавался неблагоприятным обстоятельствам и умел преодолевать тяжелые исторические ситуации, чтобы идти дальше. В этом — главное, и хорошо, что труд Я. П. Дубровы еще раз напоминает нам об этом, вселяя исторический оптимизм.

М. М. Батмаев,
кандидат исторических наук.

ИЗВѢСТІЯ ОБЩЕСТВА
АРХЕОЛОГІИ, ИСТОРІИ И ЭТНОГРАФІИ
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.
Томъ XV, вып. 1—2.

БЫТЪ КАЛМЫКОВЪ
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Дѣйствительнаго члена
Я. П. Дубровы.

Казань.
Типо-литографія Императорскаго Казанскаго Университета
1899.

Быт калмыков Ставропольской губернии
до издания закона 15 марта 1892 года[1]

Вместо предисловия

Часть обширнейшего в Европейской России степного пространства, имевшего своими границами — с юга устье р. Волги, прибрежье Каспийского моря и р. Куму, с востока р. Волгу, с севера Землю Войска Донского и с запада отроги Кавказских гор — с 1630 года занята была кочевьями вышедшего из Монголии калмыцкого народа и по имени этого народа называлась *калмыцкой степью.*

Вместе с калмыками на той же степи кочевали и покоренные ими народцы: *татары, ногайцы, эдишкульцы, эдисанцы, туркмены и джембулакцы.* Составляя господствующее племя, калмыки — сначала в лице своих *ханов,* а затем *нойонов* — владельцев улусов,— по отношению к России обязывались только *верноподданством* как за себя, так равно и за подпавшие под их власть народцы.[2] При таком, чисто внешнем, обязательстве по отношению к нашему правительству калмыки долго сохраняли полную неприкосновенность строя своей жизни и гражданских распорядков.

Оставляя пока в стороне рассказ о постепенном подчинении калмыцкого народа нашей администрации и об уничтожении многих, весьма существенных, их правовых привилегий, с потерею которых калмыки сделались вполне подвластными нам и начали управляться не своими *нойонами* и *зайсангами,* а русской администрацией,— мы только скажем, что до 1860 года весь калмыцкий народ, живший в пределах Европейской России, в делах административного управления им составлял одно целое и входил в состав Астраханской губернии. С этого же года, то есть 1860-го, незначительная часть калмыков, именно принадлежащая к *Больше-Дербетскому улусу,* отчислена была от Астраханской губернии и вошла в черту Ставропольской, чем и округлились границы последней.

Громадная полоса земли, считавшая в своих границах *до двух миллионов десятин,*— сплошь степная, только местами слегка холмистая, в общем пустынная, но в былую пору изобиловавшая травой и камышами,— служила весьма удобным местом для привольных кочевок номадов, вошедших в состав Ставропольской губернии; своею же незаселенностью привлекала в черту кочевий массу выходцев из наших внутренних губерний. Выходцы эти, как увидим ниже, постепенно, шаг за шагом, без помощи администрации, натиском, вопреки всяким писаным законам, разным циркулярам и ''строжайшим предписаниям'', завоевывали под свои поселения *''степные клочки''*, все более и более скучивали калмыков, притискивали их к бесплодным прибрежьям р. Маныча, изобилующим не только солончаками, но и довольно значительными по пространству соляными озерами (как например, *Джалгинское, Яшалтинское, Царыкское* и многие другие). С этой стороны дела, т. е. по истории своего заселения, калмыцкая степь весьма чревата довольно интересными и оригинальными событиями, ждущими своего исследователя. Но и помимо этого, крайне важного и обильного этнографического материала, сами по себе калмыки во многих и многих отношениях представляют из себя большой и ценный историко-этнографический интерес. К сожалению, вообще калмыцкая степь с ее населением — калмыками — свободно, привольно, богато и в очень недалеком прошлом даже грозно (до семидесятых годов) для соседей (русских) кочевавшими, никем и ничем не стесняясь в проявлении своих разбойнических инстинктов,— до сих пор является непочатым исследователями уголком России. Исторических — в самом широком смысле этого слова — и этнографических исследований упоминаемого нами края и его обитателей в нашей литературе почти нет. Земля же этого края обильно полита человеческою кровью, борьба за обладание им ожесточенно велась и только недавно вступила на сравнительно мирный культурный путь (мы разумеем ту борьбу, какую русское население исподволь, но упорно ведет с калмыками за обладание правами на землю), упорно продолжается до сих пор и, по-видимому, долго еще будет продолжаться.

Оставляя в стороне прошлое этой борьбы, заметим, что в

---

[1] Сообщение, сделанное в Общих Собраниях Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском Казанском Университете 28 ноября и 20 декабря 1897 и 27 января 1898 годов.

[2] Полн. Собр. Закон. Т. 1-й, ст. 145, 316, 540; Т. 2-й, ст. 672, 990; Т. IV-й, ст. 2, 207; Т. 22, ст. 16194.

настоящее время она из самовольной, чисто народной, сохранив ожесточенность, перешла уже в бумажную. Поле деятельности ее ускользнуло из рук народа и перенесено в разные канцелярии, и ведется она не плугом и косой, как то было до семидесятых, даже почти до восьмидесятых годов, а стальными перьями, конец же борьбы, в смысле упорядочения калмыцких поселений, едва ли скоро наступит. Одно только ясно и несомненно, что беспорядочность или, вернее, полная бестолковщина в устройстве экономического быта калмыков, равно и претензии крестьянского населения на захват калмыцких земель служат теперь нескончаемой и очень выгодной темой для писания всевозможного рода и вида проектов ''переустройства быта калмыцкого народа'', коими с неподражаемым рвением и заняты местные вершители судеб кочевников.

Будучи отчасти знакомым с руководящей идеей многих *главных проектов* и отдавая им должное, позволяю себе заметить, что практические результаты их сомнительного, чтобы не сказать более, свойства говорят скорее о богатстве административных соображений, чем о знании нужд народа и его способностей к восприятию в том или другом виде русских бытовых форм и земледельческой культуры, что в своем месте и постараюсь уяснить. Здесь же ограничусь одним коротким замечанием, что едва ли нужны доказательства для подтверждения той общеизвестной истины, что, где основой суждений и выводов, в особенности с целью практического принесения их в сферу народной жизни, служат не результаты научных исследований, а традиционное: ''а посему — имея в виду и принимая во внимание''... — пользы для народа не всегда много; вреда же и вреда с нежелательными последствиями в будущем — немало.

Разумеется, было бы с полгоря, если бы пронумерованные и скрепленные надлежащей подписью проекты о переустройстве народной жизни подвергались предварительной, более или менее тщательной проверке. Но дело в том, что в большинстве эфемерные по своей практической пригодности попытки ''измышлять пути для блага'' — упорно, как нечто и в самом деле будто бы пригодное, насаждаются ''в виде опыта'' на совершенно чуждой почве, чем и подрываются бытовые и экономические устои, ставится все вверх дном и создается крайне тяжелое социально-экономическое положение народа, попавшего в переделку творцов ''проектных положений''. Нежелательные последствия еще более увеличиваются от того, что у калмыков, как у народа, долго стоявшего вдали от общего течения нашей народной жизни, собственные социально-экономические и бытовые устои, в силу неоднородности культуры, с втиснувшимися в его жизнь выходцами из внутренних наших губерний, что называется в корень распатаны. К тому же у кочевников не было и нет в наличности — ни уменья, ни сил — не только для борьбы с всепоглощающим влиянием на них чуждого им народа — но даже и для самозащиты. При полном же отсутствии у калмыков точек сближения с чуждой укладу их жизни культурой нашего крестьянина, в связи с враждебным отношением друг к другу и тем презрением, каким вообще русские дарят инородцев, называя их *''поганой тварью''*,— им, т. е. калмыкам, нет возможности мирно, без страха и сожаления о потере своих национальных особенностей, постепенно приспособляться к условиям крестьянского быта и тем без потерь, кажущихся тяжкими, найти дорогу для привнесения в свой быт иных жизненных условий и приспособиться к ним, приспособившись же — избавиться от положения жалкого пария, напором иных жизненных условий и требований выбитого из колеи обычного своего существования и поставленного в безвыходную необходимость — не жить, а прозябать без просвета и надежды на лучшее будущее, с тупой апатией смотреть на экономический рост захватывателей степи и сознавать, что близко уже то время, когда,— путем ли естественного вымирания или же по иным, не менее сильным причинам — и самое имя *''калмык''* сохранится только на страницах книг. Последнее, разумеется, не беда при условии восприятия *нашими* калмыками *наших* социально-экономических условий и нашей культуры. Тогда, если бы они и слились с крестьянским населением, то тем самым избежали бы тяготеющего уже над ними закона, по которому замкнутые в своей крайне ветхой и гнилой скорлупе, к тому же и обнищалые, калмыки должны будут вымереть — как нечто вполне не приспособленное для борьбы за сохранение обособленности своего существования. Такое же положение калмыков, забытых исследователями народной жизни и очутившихся на распутье, настоятельно требует, чтобы о них вспомнили.

Со времени своего подчинения России, что случилось, как уже отмечено, в 1630 году, калмыцкий народ, пользуясь исключительной привилегированностью своего положения, стоял совсем в стороне от общего течения нашей народной жизни, составлял как бы царство в царстве. И мы бы его совсем, кажется, продремали, если бы народ этот, от поры до времени, довольно-таки назойливо сам не напоминал о себе.

Вот, между прочим, беглый ретроспективный взгляд на прошлое наших забот о калмыках.

Начали калмыки при хане *Хо-Урлюке* правильно организованным войском громить наши окраины, разорили г. Астрахань; стали при *Аюке-хане* подчинять себе подвластных нам кочевников и

грабить их; вздумали при наместнике калмыцкого ханства *Убаши* бежать в пределы Китайской империи,— правительство наше встрепенулось, усмирило калмыков, лишило ханов их прав самодержавной власти, разделило *калмыцкую орду* на отдельные владельческие княжества, поставило во главе их полновластных владельцев — *нойонов,* царивших до издания закона 15 марта 1892 года, и... успокоилось... Начались в царствование Екатерины II грабежи, разбои и ''прочие непотребства'' включительно до разгрома крепостей и городов вместе с пугачевцами,— опять вспомнили про калмыков: послали в улусы русских администраторов контролировать действия нойонов, и власть своих агентов подкрепили воинскими командами. Затем в конце уже восьмидесятых годов прошлого столетия додумались, что воинская команда служит плохим насадителем культуры среди калмыков, и написали проект ''о замене команд от войск вольнонаемными стражниками, но с тем, чтобы сии последние были при воинском оружии''... Хлынуло в начале текущего столетия широкой, всезахватывающей волной русское население в свободные калмыцкие степи, прижало кочевников, оттиснуло их в глубь степи, построило (без разрешения на то, самовольно) массу сел и деревень, составляющих теперь два уезда — Медвеженский и Новогеоргиевский — вновь мы пробудились. В видах удобств административного управления выделили часть калмыцкого народа,— именно *Больше-Дербетский улус,* из ведения астраханской администрации, привели в известность оставшееся от захвата количество земли, дали кочевникам душевой надел (тридцать десятин на душу), оставили частичку степи про запас, поставили более или менее серьезную преграду поступательному движению русских переселенцев в степь и... опять успокоились... Издали 23 апреля 1847 года не имеющие внутренней связи между собой жалкие обрывки, именующиеся *''положением об управлении калмыцким народом''*, дали этому ''положению'' силу закона и... почили... Натолкнулись на безобразнейшее из явлений народной жизни,— именно, что в нашем отечестве, и даже не на окраине, процветает еще крепостное право и существуют чуть ли не владетельные князья среди калмыков — встрепенулись и законом 15 марта 1892 г. уничтожили крепостничество среди калмыков, фиктивно пристегнули их ''по правам к свободному сельскому населению'' и — только. Но тут уже не успокоились и как будто бы не шутя вздумали поставить калмыков на ноги, из полуномадов сделать оседлых земледельцев, из традиционных конокрадов — полезных ''сельских обывателей''.

Да и нельзя было успокоиться, ибо каждому соприкасающемуся с жизнью калмыков до очевидности понятным стало, что закон

15 марта в сущности почти ничего не изменил в строе быта этого народа. И после ''закона'', как увидим ниже, калмыки попрежнему остались таким же бесправным народом, с крайне неупорядоченным социально-экономическим строем, с тем же чуждым всякой системы и практической пригодности ''положением'' 1847 г.,— словом в состоянии, довольно правдиво и характерно определенном местными жителями фразой: *''ни в сих, ни в тех''.* ''Свободные сельские обыватели'' не имеют прав на общественные сходки без предварительного на то разрешения, не имеют права распоряжаться по своему усмотрению отведенной в их пользование землей и доходностью с нее, состоят под полной чиновничьей опекой и пользуются своими средствами и землей — не по праву и свободно, а *с разрешения,* получают свои собственные деньги не тогда, когда нужно, а когда признается *благовременным,* когда строго канцелярским путем решится вопрос, что и калмык за свои же деньги имеет право покупать хлеб и одежду. Благодаря же такой неупорядоченности прав народа калмыкам сплошь и рядом приходится, по пословице, спустя лето ходить в лес по малину. А так как малины зимой нет, деньги же у них отобраны, то они вместе со своим скотом и мрут с голоду (sic), мрут, несмотря на то, что имеют громаднейший общественный капитал (до четырехсот тысяч) и родовые суммы. Выражение же: *''свободные сельские обыватели''* остается, хотя и громким, но мало содержательным звуком. Свободно калмыки только нищенствуют, вымирают и лишаются последней своей скотины — этой единственной бесконтрольной статьи их дохода. Общее число калмыков в 1893 году было 11812 душ, в том же году *родилось* 254 д., а *умерло* 312; в зиму же 189 2/3 годов *от бескормицы погибла тысяча пятьсот пятьдесят одна штука разного скота.* Цифры эти не требуют комментариев.

От такой, слишком резко бьющей в глаза, действительности почувствовалась неловкость, к тому же и правды скрыть нельзя... Заговорили о ''преобразованиях управления калмыцким народом'', принялись за ''проекты'' и ''доклады''. Вместе же с этим, в виде ''экспериментального опыта'', начали практически применять ''способы улучшения экономического быта калмыков и выведения их на торную дорогу земледельческой культуры'', решительно не прислушиваясь к действительным нуждам народа и не отыскивая в нем самом тех средств, направляя которые действительно без вреда можно вывести калмыков на эту дорогу.— Положим *приказ,* в особенности местный, ''дело великое'', но все же и он не исключает необходимости прислушиваться к нуждам народа, изучать его потребности, правоспособность и пригодность к восприятию нововведений...

Из этого, хотя и слишком поверхностного, обзора наших забот о калмыцком народе видно, что более двухсот с половиною лет мы, как бы спросонок, обращали свое внимание на этот народ, действовали спорадически, урывками, судорожно и ощупью, соблюдая почему-то крайнюю осторожность. Этой-то неисследовательностью и бессистемностью отчасти, если не главным образом, и объясняется тот несомненный факт, что калмыки и до настоящего времени остаются каким-то отчужденным от нашей жизни народом со своими, никуда негодными ''особенными правами и привилегиями'' и представляют из себя какую-то на первый взгляд мало понятную аномалию среди окружающего их степь оседлого русского населения. И только теперь, когда калмыки стали уже походить на разлагающийся труп, мы начали серьезно заботиться об их будущей судьбе и, по-видимому, задались целью одухотворить этот труп, впрячь его в борону и плуг и заставить его перейти из кибитки, в которой он молча умирает, в крестьянскую избу с капустными огородами, а дабы вознаградить прежнюю забывчивость и небрежность отношений к калмыкам, лихорадочно суетимся и действуем, как кому Бог на душу положит...

Ввиду только что сказанного, позволяю себе поставить открытый вопрос о крайней необходимости *именно теперь* пополнить пробел в деле изучения быта калмыков во всех его проявлениях и тем так или иначе прийти на помощь администрации, занятой в настоящее время вопросом о коренном переустройстве экономического и правового положения этого народа. Особенно же это необходимо *теперь* потому, что многие непосредственно соприкасающиеся с калмыками деятели, не в обиду будь им сказано, не знакомые (как это ни кажется странным) ни с бытом народа, ни с характером его, ни с прошлым, ни с условиями, соблюдая которые действительно можно улучшить экономическое положение полукочевников,— начали уже ''экспериментировать''. Беспочвенность же экспериментов успела уже показать свои крайне нежелательные результаты, благодаря которым калмыки, не понимая, что с ними делают и сделают, форсированным маршем и притом по слишком наклонной плоскости идут к полному экономическому истощению и деморализации. И это вполне естественно — ибо былые жизненные устои расшатаны, подгнили и рушатся, взамен же их пока ничего положительного, практически пригодного и отвечающего духу и потребностям калмыцкого народа — не дано. Ломка же без навыка к делу и нужной осмотрительности производится.

Сказанное нами может быть, на первый взгляд, покажется и резким, и странным — тем не менее все это неоспоримый факт,— и только близорукость и склонность благодушно относиться ко

всему мешали и, вероятно, долго еще будут мешать выпырнуть многим фактам из прошлой жизни калмыков.

Не претендуя на всесторонность рассмотрения вопроса о современном нам социально-экономическом положении калмыков Больше-Дербетского улуса, постараюсь по мере уменья с возможной полнотой, опираясь на факты, изложить в этом очерке все то, что добыто было мной в течение шести лет почти безвыездной жизни среди калмыков. Быть может, мне и удастся дать материал для более серьезного исследования, а может быть и заинтересовать кого-либо изображением действительно неприглядного, чтобы не сказать более, положения калмыков и тем самым прийти на помощь кому-либо действительно желающему добра калмыцкому народу. Вопрос о переустройстве быта калмыков имеет весьма важное значение, ибо речь идет не о горсти людей, а о десятках тысяч — не о десятках и сотнях тысяч десятин земли, а о миллионах, так как предполагаемое преобразование должно коснуться не одних калмыков Больше-Дербетского улуса, но и их сородичей, живущих в пределах Астраханской губернии; по официальным же сведениям за 1860 год всей земли, находившейся в пользовании калмыков Астраханской и Ставропольской губерний, числилось 10297587 десятин... Есть чем распорядиться и есть что упорядочить!

Начнем с прошлого, хотя и недалекого, калмыков собственно *Больше-Дербетского улуса,* укажем по возможности на их социально-экономическое положение до издания закона 15 марта 1892 г. и после него, познакомимся, хотя в кратких и общих чертах, с их правами, обычаями, бытом... Попытаемся определить отношения народа к нойону — владельцу улуса и к русской администрации и обратно. Коснемся юридических прав калмыков на занимаемую ими землю, способов пользования ею и укажем на влияние русского народа на быт и экономическое положение номадов.

Что касается исторических сведений, то таковые нами заимствованы частию из полного собрания наших законов и частию из неизданных рукописных летописей Бакши хурулов Больше-Дербетского улуса Сандже Яванова (главное духовное лицо в улусе), умершего в 1894 г., уже после моего выезда из улуса. Упоминаю о последнем обстоятельстве потому, что интересно было бы знать об участи весьма важных исторических документов, бывших у Бакши Яванова. Немало помог мне и уважаемый зайсан *Бадьма Лапинович Опогинов.* И да простит мне его скромность, если я с полным убеждением в справедливости своих слов скажу, что он лучший человек в улусе, и весьма жаль, что его оттолкнули от управления калмыками, хотя он и занимал очень скромную должность — *выборного чиновника Икитуктунова рода.*

I.

Несмотря на то, что калмыки живут не за тридевять земель и не в тридесятом покоренном нами царстве, а тут же, в Европейской России, на берегу р. Волги, по которой массой движется всякий не интеллигентный и интеллигентный люд, разносящий во все углы сведения о виданном и слышанном,— нам не раз, даже и среди интеллигентов, приходилось сталкиваться с полным непониманием значения: *''калмыцкий улус''*. Поэтому, прежде чем говорить что-либо о калмыках, считаю далеко не лишним выяснить, что называется *калмыцким улусом.*

Калмыки — с 1630 года, т. е. со времени прихода своего в Россию, и до 1771 года, когда значительная часть их бежала обратно в пределы Китайской империи — управлялись своими полновластными *ханами* и официально носили название *''калмыцкой орды''* без подразделения ее на более или менее дробные административные единицы с особенными названиями таковых. Точно так же и места, занятые кочевьями этого народа, по имени последнего носили одно общее название *''калмыцкой степи''*.

Затем с 1771 года, когда ханство окончательно было уничтожено, весь калмыцкий народ разделен был на семь отдельных (впоследствии образовано было восьмое) владений. Основанием для такого разделения калмыцкой орды послужило число старших в роде *нойонов,* кои происходили как прямые потомки из ханских родов и за коими нашим правительством признано было право владеть калмыками-простолюдинами на правах полного подчинения последних первым — не только в экономическом, но и в судебно-административном отношении, даже с правом, как увидим ниже, собирать в свою непосредственную пользу *''албан''*, т. е. подать. Вот эти-то отдельные владения нойонов со своим обособленным управлением и зависимостью народа только от нойонов-владельцев и получили от нашего правительства официальное название *''улусов''*. Слово ''улус'' монгольское, происходит от ''ӧлос'' (тоже ӧлӧс), что значит народ вообще. Таким образом, *''калмыцкий улус''* представляет из себя отдельную, самостоятельную в административном отношении единицу из общего калмыцкого народа, со своими отдельными правами на известное пространство степи, даже с точно обозначенными границами земельных дач — как то есть в *Больше-Дербетском улусе.* В Астраханской же губернии земельные владения улусов еще не разграничены между собой.

Посмотрим теперь, как образовался Больше-Дербетский улус.

Еще в царствование Екатерины второй в семье владельца громаднейшего по пространству и многочисленного по населению

Дербетского улуса после смерти главы произошли раздоры между родными братьями за право владения калмыками. Раздоры эти, как говорит калмыцкое преданье, сопровождались ''междоусобной войной'', т. е. в спор братьев втянуты были и ''простолюдины''. Нерешенный же междоусобицей спор доведен был наконец до сведения нашей высшей власти, где спорившие о наследии братья и добились того, что вопреки основному закону о правах наследства нойонов приказано было решить спор разделом улуса на две части, калмыкам же простолюдинам как участникам в споре предоставлено было право *свободно* выбрать себе владельцем одного из двух братьев и остаться его подданными. Пользуясь таким правом, большая часть сторонников *меньшего* брата приняла зависимость от него и образовала *Мало-Дербетский улус,* меньшая же часть отдала свою шею под ярмо *старшего* брата и составила *Больше-Дербетский улус,* границей же владений обоих братьев положено было считать *р. Маныч.*

Такой раздел калмыков на два улуса разрешен был — не только вопреки существовавшему на то прямому закону о наследстве, но и в прямой ущерб интересам нашей казны, да и самого народа. По точно и ясно выраженному смыслу Высочайшего повеления наследством и сопряженными с ним правами на владение калмыцким народом мог пользоваться исключительно только старший сын по прямой линии. После смерти его наследство и права умершего могли переходить опять-таки только к старшему сыну его, но отнюдь не к братьям первого, даже и в том случае, если у умершего владельца не было сына. В последнем случае *улус бесспорно делался казенным,* т. е. калмыки обращались в государственных крестьян и взносили *''албан''* уже не наследникам умершего нойона, а в общегосударственную казну. Братья же умершего владельца обращались во ''владельческих родственников'', и для *''кормления''* давалась им только самая незначительная часть калмыков. Но эти ''владельческие родственники'' юридически не имели уже никаких административных прав над своими крепостными калмыками. Напротив сами они, как и их крестьяне, во владельческих улусах подчинялись во всем *нойону — владельцу улуса,*— в казенных же улусах,— *управляющему улусом* по выбору калмыков, а также и представителям русской администрации в лице ''попечителей улуса'', обязанность коих сводилась к контролю над действиями нойонов и управляющих улусами, равно и полицейскому надзору за населением.[1] А так как у владельца Дербетского улуса не было прямого, законного

[1] Св. Зак. Т. IX. Ч. II-я, ст. 1350.

наследника, то после смерти его правительство, не посягая ни на чьи права, свободно могло бы причислить улус к ''казенным'', чем соблюдена бы была и справедливость, и общий с народом интерес калмы. Случилось же не так, и случилось, очевидно, потому, что в силу соблюдения нашими властями личных интересов сторон, претендующих на незаконное наследство, был попран закон, и вопреки прямому его требованию вместо одной язвы — явилось две, кои и уничтожены только законом 15 марта 1892 г.

Оба эти *улуса*, т. е. *Больше-Дербетский* и *Мало-Дербетский*, по делам своего административного управления входили в состав Астраханской губернии. Затем в 1860 году, когда Ставропольская губерния вздумала округлиться в своих владениях, Больше-Дербетский улус, как врезавшийся своей землей почти в самую середину ее, изъят был из ведения астраханской Палаты Государственных Имуществ, вошел в состав Ставропольской губернии и образовал из себя отдельную административную единицу со своим совершенно обособленным от общего положения об управлении губернией административным строем и ждет теперь реорганизации.

Любопытно отметить, что вопрос о выделении Больше-Дербетского улуса тянулся несколько лет и даже возведен был чуть ли не на степень государственной важности, причиной чему было то, что астраханская администрация, задабриваемая калмыцкими нойонами и зайсангами, видевшими в выделении улуса посягательство на свои национальные права и единство народа, несмотря на всю очевидность необходимости выделения, упорно настаивала на неудобствах его, настаивая же — пускала в ход всевозможного рода и вида натяжки и подтасовки; так, между прочим, выставлялось на вид правительству и то, что ''от предполагаемого раздела может случиться не только разорение народа, но даже и *бунт*''. Последнее предположение решился высказать астраханский губернатор как самый веский довод в пользу невыделения улуса. В докладе г. министру он выразился, ''что хотя управление Больше-Дербетским улусом, по отдельности его кочевий (триста верст от г. Астрахани) крайне затруднительно для астраханского начальства (еще бы не сознаться в этом), но передача калмыков в другое ведомство может нарушить единство калмыцкого народа и произвести по всей вероятности неприятное впечатление с гибельными последствиями для народа''.[1] Между тем выделение улуса вызывалось действительной нуждой и являлось единственно разумным средством прекратить обострившиеся споры и недоразумения, постоянно возникавшие между астраханским и ставропольским губернским начальством по делам заведования калмыцким народом. Недоразумения же эти возникали в силу неизбежной путаницы, происходившей от двойственности положения калмыков Больше-Дербетского улуса. В географическом отношении земля кочевий больше-дербетцев находилась, как мы уже знаем, в пределах Ставропольской губернии и числилась в ее плане, в административном же отношении владельцы ее подчинялись астраханскому начальству — это во-первых. Во-вторых же, между калмыками Больше-Дербетского улуса и кочевавшим совместно с ними ''магометанским населением'' — эдишкульцами, эдисанцами, джембулакцами и туркменами — земля не была разделена и находилась в их общем совместном пользовании. Вследствие этого ''магометане'' и имели юридическое право кочевать по следам своих совладельцев — калмыков даже в пределах Астраханской губернии. Таким образом, одни и те же калмыки подчинены были двум одинаковым начальствам — в земельном отношении ставропольскому, а в административном астраханскому, — ''магометане'' же наоборот.

Естественно, что от такой двойственной административной зависимости одного и того же народа должна была происходить масса недоразумений, особенно в судебно-полицейском отношении. Недоразумения же неизбежно влекли за собой ''ослабу ух''. Совершая преступления — грабежи и разбои, коими так богато прошлое калмыков — последние редко подвергались ответственности, ибо астраханская администрация в лице попечителей улусов и главного попечителя калмыцкого народа ревниво оберегала *свои* права судить и рядить калмыцкие дела и не допускала к тому ставропольскую администрацию, защищавшую интересы своего русского населения. Благодаря этому большинство преступлений оставалось нераскрытым, что хищникам и придавало особенную смелость и дерзость в совершении разбоев и грабежей даже среди бела дня и не в одиночку, а правильно организованными и значительными по числу шайками. Терпевшее же от разбоев и грабежей русское население, не находя себе защиты, вынуждалось само, своим судом расправляться с хищниками.

Происходивший от всего этого вред ясно понимал ставропольский губернатор г. Брянчанинов; понимая же, вполне основательно упрекал не бескорыстно отстаивавших фиктивные интересы ''единства калмыцкого народа'' и убедительно доказывал необходимость причисления Больше-Дербетского улуса к составу Ставропольской губернии, что, уничтожив ''двойственность'' власти,

[1] Цитата в докладе Ставропольского губернатора г. Брянчанинова в Министерство Государственных Имуществ по вопросу о причислении Больше-Дербетского улуса к Ставропольской губернии.

дало бы возможность местной администрации принять более или менее действительные меры к прекращению ''вопиющих злоупотреблений'' как со стороны астраханской администрации, так равно и со стороны калмыков, с успехом пользовавшихся выгодами двойственного своего положения. А что калмыки понимали эти выгоды и умело пользовались ими — видно, между прочим, из того, что они в случаях преследования ставропольской администрацией смело шли под испытанно-надежную защиту астраханской, где и находили полное покровительство. Случалось и наоборот.— В таких случаях не преступления расследовались, а со всей чиновничьей страстью разбирался принципиальный вопрос: кто в данном деле имеет юридические права ''чинить суд'' над калмыками и в острог какой губернии их нужно сажать. Покуда же решалась эта сказка про белого бычка, калмыки привольно продолжали ''чинить грабежи и разбои''. Только разумная настойчивость г. Брянчанинова, основанная на неоспоримых и слишком резких фактах, убедила, наконец, высшую администрацию положить предел весьма вредным для народа чиновничьим препирательствам. Убежденный доводами г. Брянчанинова и не обращая внимания на угрозы астраханского губернатора относительно ''могущих быть народных волнений'', министр государственных имуществ в своем докладе на Высочайшее имя решительно высказался за необходимость ''нарушения единства калмыцкаго народа''. Он, между прочим, писал, что ''отделение к Ставропольской губернии части калмыцкой степи... не может — ни нарушить прав калмыков, ни потрясти основ их быта, ибо вся земля, отведенная калмыкам для кочевья в их общее с магометанами пользование, находится в географических границах Ставропольской губернии. Передача земель калмыцких в ведение наместника кавказского не может также изменить и экономического быта калмыков, ибо, переходя вместе с землями в заведование иного начальства, калмыки остаются на тех же землях, которыми они и пользовались и которые постоянно были заняты чуждыми им кочевниками (эдишкульцами и др.)''.[1] В силу такого доклада министра государственных имуществ, наконец состоялось Высочайшее повеление об отчислении Больше-Дербетского улуса в ведение ставропольской администрации, что и исполнилось в 1860 году.

Вслед за таким повелением, вопреки уверениям астраханского губернатора, не последовало никаких народных волнений, равно никто из калмыков не потерпел и экономического расстройства.

[1] Копия с доклада г. министра государственных имуществ, равно и копия с доклада г. Брянчанинова случайно были в моих руках.

Да иначе и не могло случиться, так как пугливые предположения были чистейшей, ни на чем, кроме ''корысти'', не основанной выдумкой астраханских властей, тормозивших дело в угоду нойонам-владельцам улусов, видевшим в отделении части от целого а) посягательство на вековые права народа и б) опасность причисления калмыков к крестьянскому сословию, следовательно потерю прерогатив своей власти.

Площадь, занятая кочевьями калмыков Больше-Дербетского улуса, залегала на громаднейшем степном пространстве, начиная от р. Северной Кугульты до р. Маныча и от р. Ягурлыка[1] до рр. Кумы и Калауса[2] и исчислялась миллионами десятин земли; численность же кочевников-калмыков не превышала четырех тысяч душ обоего пола. Так, по статистическим данным, собранным в 1860 году, в Больше-Дербетском улусе значилось 812 кибиток, земли 2100000 десятин и 145650 голов рогатого скота и лошадей. Сведения эти, особенно относительно численности кибиток (отдельное жилое помещение), можно считать вполне верными, потому что каждая отдельная кибитка, иначе ''*дым*'', считалась тогда, как считается и по настоящее время, платной единицей по взносу *албана* — тогда в пользу нойона, а теперь в пользу общегосударственной казны; в верности же исчисления кибиток был заинтересован сам нойон, владелец улуса, так как с каждой кибитки он получал до семи рублей в год албана; следовательно, при передаче калмыков в ведение ставропольской администрации всякая не попавшая в счет кибитка, оставаясь в Астраханской губернии, принесла бы его интересам явный и значительный ущерб. Понятно, что при таких условиях можно верить тогдашней официальной статистике.

Если мы предположим, что каждая кибитка состояла из трех душ мужского пола, то все население калмыков Больше-Дербетского улуса выразится в цифре 2436 душ. Естественно, что такое крайне ограниченное число населения кочевников на пространстве двух с лишком миллионов десятин земли являлось слишком незначительным, так что относительно населения степь должна была представлять из себя почти пустынное место с кое-где едва приметно торчащими на ней калмыцкими кибитками; к тому же кибитки, как походные войлочные палатки, не имели вокруг себя ни загородей, ни других каких-либо хозяйственных пристроек, в которых кочевник решительно не нуждался. Впечатление пустын-

[1] *Ягурлык* — имеется в виду р. Егорлык, левый приток Зап. Маныча в Ставропольском крае и Ростовской области (**Примеч. ред.**).

[2] § 25. Положения об управлении калмыками 19 мая 1806 г.

ности степи особенно сильно увеличивалось еще и от того, что на всем обширном пространстве равнины, исключая транзитной дороги, идущей от гг. Царицына и Астрахани на г. Ставрополь-Кавказский, не было других — не только дорог, но даже и проезжих тропинок, потому что обитатели степи — калмыки ездили исключительно верхом и без дорог, на глаз, по прямому направлению и не по раз намеченному следу, а ''с кургана на курган''. Даже и теперь, когда степь изрезана уже множеством проезжих колесных дорог, калмыки не бросают своей прежней привычки ездить не дорогой, а по прямому направлению.

Что же касается населенных мест, то при постоянном передвижении кочевников их с трудом можно было и приметить и отыскать, если случайно кто-либо не наталкивался на ту или другую кучку кибиток. Словом, раздолье и приволье было полное; девственная степь, совершенно нетронутая рукой человека, изобиловала тучными пастбищами и казалась богатейшей по своему плодородию. Даже и теперь, когда почва калмыцкой степи крайне уже истощена, благодаря хищническому способу распашки ее,— все-таки весной и осенью, начиная с сентября месяца, она богато покрывается густой сочной травой,— только среди лета кажется точно выжженной. А так как бродячий люд хорошо знал о приволье калмыцких кочевий, то естественно, что он при первом же удобном случае и хлынул в них массой, особенно после того, как дело заселения Таврической степи было окончательно урегулировано и прекратилась возможность произвольного захвата ее.

Действительно — по мере успехов наших завоеваний на Северном Кавказе, вслед за войсками из внутренних губерний России шла масса гулевого народа, почему-либо не уживщегося на местах своей родины и искавшего свободных и привольных пристанищ для оседлости, поселившись на которых можно бы окончательно порвать счеты со всем своим прошлым, устроиться и жить так, как хочется, а не как велят.

Миновав Землю Войска Донского, выходцы из России прямо и сразу попадали в безбрежные калмыцкие степи с отсутствующим почти населением, если не считать за таковое кое-где одиноко торчавшие кибитки кочевников. Владельцы степи и кибиток — калмыки при появлении русских трусливо снимались со своих стойбищ и уходили в глубь степи — благо было куда уходить. По рассказам старожилов, номады никогда, особенно в первое время захвата степи (конец прошлого и особенно двадцатые годы текущего столетия), активно не отстаивали своих прав на землю. Таким, совершенно пассивным отношением кочевников к отстаиванию своих интересов в деле захвата их земли, не имевшей, положим, тогда в их глазах ценности, только и можно объяснить,

как объясняют и сами калмыки, тот факт, что русские переселенцы сами, без чьей бы то ни было посторонней помощи, только в крайне редких случаях вступая в борьбу с номадами, выпали последних из их кочевий, самовольно поселились в степи сначала хуторами, а затем и целыми многолюдными, растянувшимися на несколько верст селами и захватывали в свое пользование столько земли, сколько хотелось, а не сколько нужно было.

Как уже отмечено, началом массового движения в калмыцкую степь и, так сказать, лихорадочно торопливого заселения ее следует признать двадцатые годы текущего столетия. Всезахватывающему этому напору пришлых людей сами калмыки в первое время не хотели, а потом не смогли и не сумели положить преград, по необходимости теснились к р. Манычу, где и находили сравнительный покой, потому что сплошные там солончаки не представляли удобств для земледельческих поселений. Лучшие же места своих кочевий калмыки без активного протеста уступали чуждым их жизни пришельцам. Задабриваемое начальство русского и калмыцкого толка, игнорируя интересы калмыков, смотрело сквозь слишком темные очки на поступательное движение переселенцев и после совершившегося факта заселения той или другой степной местности, как бы вынужденное к тому ''экономическими соображениями'', закрепляло земли за поселениями, официально оправдываясь тем, что ''нельзя же целые массы семейств выгонять, разрушать постройки и тем приводить в окончательное разорение захватывателей калмыцких степей''. Суть дела заключалась, разумеется, не в этих отчасти справедливых и во всяком случае гуманных соображениях, а в *''сотельных''*. Дело теперь прошлое, хотя и не особенно далекое по времени, крестьяне уже ''крепко и нерушимо сидят'' на захваченных ими местах, почему, вспоминая старину, и не стесняются рассказывать со всеми подробностями дела — кому и в каких палатах и канцеляриях и сколько было ''отвалено сотельных'' (сторублевых), дабы ''зажать рты твари'', т. е. заставить калмыков молчать и беспрепятственно селиться на их землях. ''Сотельные'' были таким могучим орудием в руках переселенцев, что даже Высочайшие повеления оставлялись ''втуне'' и не имели желательного воздействия на лакомых к ''сотельным'' ставропольских и астраханских заправил калмыками и их кочевьями. Распоряжения же, ограждающие земельные интересы калмыков, были весьма определенны и, повидимому, очень строги.

Ввиду того, что заселение калмыцкой степи еще не окончено, прежние же распоряжения по этому поводу не отменены и имеют силу закона, мы остановимся на них и рассмотрим их несколько подробнее.

Статьями 228 и 229 Высочайше утвержденного 23 апреля 1847 года *''Положения об управлении калмыцким народом''*, между прочим, категорически требуется, чтобы улусные управления имели попечение, дабы предоставленные в пользование калмыцкому народу казенные земли и угодья не подвергались неправильному пользованию посторонних лиц. Неприкосновенность владения калмыками земель должна быть проверяема осмотрами границ ежегодно в начале весны и при наступлении осени через зайсангов и старшин, о чем улусные управления и обязаны делать донесения палате для включения в отчет Министра Государственных Имуществ. В свою очередь палата наблюдает, чтобы люди постороннего ведомства не селились самовольно на калмыцких землях, не пасли бы на них своего скота и не оставляли купленного у калмыков на прокормлении у них же, кроме времени, нужного для прогона через улусы, для чего и полагается не более двух месяцев.

Мало этого — строгость охраны и заботливость о неприкосновенности калмыцких земель простиралась, по крайней мере на бумаге, до того, что 81-й статьей того же ''положения'' требовалось, чтобы лица постороннего ведомства, желающие ехать в улусы, обязывались взять для себя из палаты государственных имуществ (в г. Астрахани) билет, без чего воспрещалось им даже кратковременное пребывание в улусах. Статьей же 11-й, как бы в подтверждение 229 ст., воспрещается ''людям постороннего ведомства *без дозволения правительства* селиться на отведенных калмыкам землях, впускать для пастьбы свой скот и оставлять оный для прокормления у калмыков под опасением в противном случае *отобрания заведенных строений и скота и продажи оных в пользу калмыцкого общественного капитала''*.

Ранее же издания упомянутого выше ''положения'' — именным Высочайшим повелением 28 мая 1839 года, объявленным председателю государственного совета чрез военного министра — ''строжайше воспрещалось поселение на калмыцких землях казенным крестьянам и вообще выходцам из внутренних губерний, какому бы ведомству они ни принадлежали''.[1] Но повеление это, равно как и ранее отмеченные нами статьи ''положения'', как показали последствия, только *пришивались добросовестно к делу*, решительно не исполнялись и практически применялись не тогда, когда нужно было и следовало их применять, а напротив — когда выгодно было *и нужно* для целей ''нажима'' пригрозить ими туго раскошеливавшимся переселенцам; затем, получив чрез посредство ''строжайших'' должную мзду, их опять прятали до нового

[1] Пол. Собр. Зак. изд. 1839. Том XIV, № 13384.

случая. Захват же земель продолжался даже в большем размере и с большей беззастенчивостью, чем до ''повеления'' и издания ''положения''. Торопились и крестьяне-выходцы, пока есть возможность, захватить и *''сесть на вольных землях''*, торопилась и ставропольская и астраханская администрация воспользоваться случаем безнаказанного собирания весьма и весьма обильной дани за безмолвную, хотя и вполне беззаконную, уступку чужой земли. Обеим сторонам было выгодно, и обе стороны со всеми усилиями взаимно поддерживали друг друга и не выносили сор из избы, напротив — старались и преуспевали в этом — облечь все в благовидную и путем подтасовок фактов законную форму. Интересы же калмыков ни в грош не ставились. Напротив, последних всячески жали и вынуждали ''трепетно молчать''.

И нет, разумеется, ничего удивительного, что деятели по отчуждению калмыцких земель в пользу переселенцев не только наживали ''солидные состояния'', но даже прославились среди крестьянского населения, и не только в Ставропольской губернии, но и далеко за пределами ее. Их знали и в Курской, и в Орловской, и в Тамбовской, и во всех южных губерниях. С ними велась *''откровенная''* переписка, через посредство которой составлялись ''сделки'', к ним посылали ходоков, и затем, сторговавшись, переселенцы уже ''наверняка'' так или иначе снимались с насиженных мест и шли *''в калмычину''*.

Между многими другими деятелями на этом поприще особенно широкую известность своей ''тороватостью'' имел Б. Впоследствии этот ''исторический'' деятель, положим, попал-таки под суд. Но над таким своим положением ''устроитель земельных дел края'' благодушно подсмеивался, ибо капиталы свои и ''благоприобретенное'' он так умело ''обставил'', что никакой суд и ни в каком случае не мог ''подкопаться'' под него.

Но, кроме пассивного участия калмыков в деле захвата их земель и алчности лиц, ''коим о сем ведать надлежало'', но справедливому и очень характерному признанию одного из официальных документов, составленных губернатором Брянчаниновым, быстрота, с какой заселялась калмыцкая степь, объясняется, между прочим, еще и тем, что кочевья калмыков Большe-Дербетского улуса долго служили яблоком раздора между астраханским и ставропольским начальством, как о том мы уже упоминали. Касаясь объяснения причин этой стороны дела, г. Брянчанинов писал: ''что пользуясь неопределенностью прав калмыцкого начальства, казенные крестьяне разных внутренних губерний и люди вовсе без письменного вида, привлеченные слухом о свободном заселении калмыцкой степи, водворялись на ней без всякого начальнического на то разрешения, захватив

распашками значительные пространства земель. Калмыцкое начальство, сосредоточенное в г. Астрахани, не успев склонить этих самовольных поселенцев к удалению, обращалось к здешнему (ставропольскому) начальству с требованием заставить их решительными мерами возвратиться в свои места жительства или же перейти на другое место (куда?). Но ставропольское начальство, имея в виду, что поселения образовываются на землях, принадлежащих неподведомственному ему населению, считало себя не в праве входить в какие-либо распоряжения в пределах калмыцкого управления, имеющего по улусам свою полицию. Таким образом, время проходило в бесплодной переписке, а своеволие разрасталось все более и более. Поселенцы оставались несведенными, и число их увеличивалось неудержимо.[1]

В таком, крайне беспорядочном виде шло весьма важное для края дело заселения калмыцкой степи Больше-Дербетского улуса до начала шестидесятых годов, т. е. до времени, когда — не в силу закона и разных распоряжений, а поневоле — пришлось сузить круг произвола и обратить, наконец, серьезное внимание на то, что калмыкам, в случае продолжения захвата их степи, вскоре пришлось бы остаться совсем без земли. Итак — не предписания и распоряжения, а сама жизнь заставила оглянуться, положить предел ''самовольному'' переселению в калмыцкие степи, принудила фактически взяться за охрану последней и так или иначе, но уже не только на бумаге урегулировать вопрос об отводе площадей под новые поселения выходцев. Тем более нужно было, хотя бы и помимо желания, упорядочить этот вопрос, что наряду с значительной убылью свободной калмыцкой земли поступательное движение переселенцев не только не прекращалось, но даже увеличивалось. Шло оно с двух сторон: первоначально с северо-запада, через Воронежскую и Екатеринославскую губернии и Землю Войска Донского, а затем в позднейшее время через г. Царицын прямой линией на г. Ставрополь-Кавказский, когда открыто было правильное и безопасное торговое сношение Приволжья с Кавказом. С этих двух сторон постепенно и возникали на калмыцкой степи громадные и многочисленные по населению ''русские села'' выходцев по преимуществу из Полтавской, Черниговской, Киевской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской и др. губерний. Впоследствии села эти, объединившись, образовали из себя два богатейших в Ставропольской губернии уезда, а именно: Медвеженский и Новогеоргиевский.

[1] Неопубликованная записка г. Брянчанинова от 17 дек. 1857 г. о необходимости размежевания Астраханской и Ставропольской губ.

В настоящее время в Медвеженском и Новогеоргиевском уездах сплошь и рядом встречаются такие многолюдные и богатые села, о каких в наших внутренних губерниях, если не считать фабричных, и понятия не имеют. Например, *с. Белая Глина,* более чем с десятитысячным населением, по богатству своих построек выглядит лучше многих наших уездных городов. В этом селе есть даже ''клуб''. Таково не одно это село: мало чем уступают ему и прочие села, в особенности Медвеженского уезда; перечислять их и долго, и нет нужды.

Русские села, захватив ''чужую'' землю[1], не только плотно прижались к калмыцким кочевьям, но сумели врезаться, что называется, в самое сердце их. К числу этих последних относятся: с. Яналта, Хагинка и Эстонка, населенные сплошь немцами, Рассыпянские и Николаевские хутора. Таким образом, в настоящее время калмыцкая степь осталась открытой только с двух сторон — именно со стороны р. Маныча и прилегающих к ней соляных озер (потому что сплошные солончаки решительно непригодны для земледелия, к тому же в этой части степи очень трудно, а в иных местах и невозможно добыть пресную воду — следовательно, прибрежья р. Маныча не представляли и не представляют из себя ничего заманчивого), затем со стороны Ставропольского уезда, собственно той части его, с которой к улусу примыкают земли частных владельцев, когда-то щедрою рукою розданные разным, выражаясь местным жаргоном, ''бритым и небритым'' кавказским деятелям, т. е. военным и статским.

Пользуясь случаем, тут же заметим, что получившие в дар земельные участки в большинстве давно уже успели промотать их, благодаря чему около ста тысяч десятин этой дарственной земли перешло в собственность ''тавричан'' — овцеводов, т. е. выходцев из Таврической губернии. Тавричане, сменив прежних владельцев, живут теперь настоящими помещиками, создали образцовые во всех отношениях хозяйства и отлично обстроили свои усадьбы. Нечего, разумеется, и говорить о том, что тавричане, купив земли в собственность (от шести до пятнадцати руб. за десятину), уничтожили все следы пребывания на них прежних их владельцев. Между прочим, в ''жалованном'' имении ''статского генерала'' И. была собрана богатейшая библиотека, доставшаяся тавричанину

[1] В настоящем очерке я не касаюсь вопроса о полезности или вреде захвата калмыцких степей. Это особь статья. Не высказываю же своего взгляда в надежде коснуться в особой статье истории заселения Ставропольской губернии.

Б. после покупки им имения И. От библиотеки этой в настоящее время остались одни лишь жалкие клочки разрозненных томов романов и повестей. Все же лучшее, серьезное как незанимательное, в особенности книги на иностранных языках,— уничтожено и пошло ''на подклейки и обертки'', частью же расхищено писарями и другими деревенскими интеллигентами. Книги же с картинками, как и самый портрет г. И., обращены в игрушки для детей. Мне лично приходилось видеть, как довольно художественно написанный масляными красками портрет г. И. таскали дети по полу и забавлялись им, точно какой-нибудь игрушкой... Достойная участь портрета лица, правившего когда-то в свою очередь судьбой края.

Как быстро размножались русские поселения на калмыцкой степи, можно судить, между прочим, по следующим официальным данным.

В 1846 году, 30 декабря, издан был Высочайший указ, коим в видах обеспечения пути сообщения с Приволжьем и г. Астраханью и оживления — скажем в скобках: несуществовавшей и несуществующей среди калмыков,— промышленной деятельности среди кочевников разрешалось по тракту, идущему из г. Астрахани на г. Ставрополь, устроить русские *станицы* из государственных крестьян. Таких станиц на калмыцкой степи в черте Ставропольской губернии в 1849 г. устроено было восемь: 1) *Дивная* с 93 семействами; 2) *Дербетовка* (Сладкие Копани тож) 33 сем.; 3) *Винодельное* (Чемрек тож) 16 сем.; 4) *Предтеченская* (Кубурла) 70 сем.; 5) *Величавая* 65 сем.; 6) *Урожайная* 94 сем.; 7) *Рогули* 78 сем. и 8) *Пробитый Колодец* 21 сем. В этих станицах, впоследствии (в шестидесятых годах) переименованных в села, вскоре дворы начали считаться сотнями. Затем с первых же годов своего существования они успели обратиться в многолюднейшие и богатейшие поселения, считавшие свои дворы уже не сотнями, а тысячами. Ко всему этому если добавить, что, как утверждают ставропольские старожилы, на разрешенных для поселения местах выходцы селились не с такою лихорадочною поспешностью и не так охотно, как на самовольно захваченных дачах[1], что нам вполне понятно будет, что если бы не подоспела фактически энергичная забота о калмыцких землях, то от кочевий калмыков не осталось бы и следа, и сами калмыки остались бы совсем без земли, как то и случилось с их родичами, попавшими в Терскую область и не позаботившимися о приобретении прав на землю.

[1] Причина ''не охоты'' селиться на отведенных местах объясняется тем, что ''на вольных местах'' никто не спрашивал ''документов'', а это имело громадное значение для переселенцев.

Началом настойчиво проводимых в жизнь мер послужил Высочайше утвержденный в 1862 году доклад министра государственных имуществ об отводе земли уже *не переселенцам, а калмыкам под оседлое их поселение.* С этого времени приступлено было к генеральному измерению и обмежеванию собственно оставшейся в пользовании калмыков земли, которое и окончилось в 1873 году.

Слишком длинная и скорбная история — рассказ о том, как производилось это размежевание. Достаточно будет воспроизвести один из самых мелких фактов, чтобы общее было понятно. Вот этот факт.

Землемер К. (давно уже умерший), обмежовывая прирезку земли жителям сс. Рассыпянского и Николаевского, остановился с плугом у начала питательной балки, единственной (в той местности) обладающей пресной водой. Причина остановки не была понята представителями Николаевского общества, рассыпяицы же поняли ''фортель'', переговорили с землемером, переговор надлежаще закрепили, и плуг, к удивлению николаевцев, пошел не прямо, как бы то следовало по условиям местности, а зигзагами — в обход балки... В результате николаевцы совершенно неожиданно для себя получили сухой безводный бугор... Повторяем, что это один из *беднейших* фактов размежовочной эпопеи...

Не нужно забывать, что во время размежевания земель, хотя и ''втихомолку'', и не в большом, сравнительно с прежним, количестве, но все-таки продолжался захват калмыцких дач. И только в 1873 году, когда уже окончена была разверстка участков земли между калмыками, переселенцы безвозвратно лишились возможности массами самовольно селиться на калмыцкой степи без взноса за то арендной платы. Случаи же захвата земли в собственность, исключая одного, совершенно прекратились.

В свою очередь и сами калмыки вслед за разверсткой между ними дач потеряли возможность и право перекочевывать по своему произволу по степи, должны были ''обоседниться'' на отведенных каждому *роду*[1] отдельных участках и забыть о прежнем приволье своей кочевой жизни. Им по разверстке степи нарезано было на каждую наличную душу мужского пола по тридцати десятин ''в пользование'', да кроме того оставлено по шести десятин в запас на случай увеличения народонаселения. Слагаемое этих шести десятин и образовало так называемую

[1] Калмыки, как известно, и до сих пор не пережили родового быта, и каждый их *род* обособлен от другого.

свободно калмыцкую степь, вполне изъятую из ведения народа; сдается она в аренду улусным управлением, и вся получаемая арендная плата причисляется к калмыцкому общественному капиталу. Но об этом после.

Таким образом, из *двух миллионов ста тысяч десятин калмыцкой степи*, бывшей в пользовании калмыков Больше-Дербетского улуса, к 1873 году, по точному землемерскому измерению, *осталось только около пятисот тысяч десятин земли;* остальные же полтора миллиона расхищены. Мало этого — и оставшееся пятьсот тысяч десятин далеко не все поступили *в пользование собственно калмыков простолюдинов.* Львиная доля уделилась крестьянским обществам в виде *прирезок* к раньше захваченным участкам, а также и *привилегированному калмыцкому сословию,* т. е. зайсангам, владельческим родственникам, духовенству и нойону-владельцу улуса.

Вот статистический перечень этих прирезок и наделов:

1) Нойону — владельцу улуса г. Гахаеву 1775 десятин. По ''положению'' ему следовало только 1400 д.; 350 же десятин прибавлено в виде неудобной земли, будто бы находящейся в его участке.

2) Сестре владельца улуса 1000 десятин.

3) Жене полковника Эсаулова, урожденной Хапчуковой, в пожизненное владение 1521 десятина.

4) Калмыцкому ламайскому духовенству 3765 д.

5) Зайсангам и владельческим родственникам 11000 десятин.

6) Крестьянским обществам разных селений Медвеженского и Новогеоргиевского уездов 174087 д.

7) Под соляные озера 8196 д.

8) В запас 83878 д.

9) На предмет Высочайшего пожалования 2521 д.

В пользование же калмыков простолюдинов 212058 десятин.

Цифры эти сами за себя говорят. Иллюстрировать их здесь не у места. Вопрос же о том, что вызвало нарезку земли привилегированному калмыцкому сословию и насколько она вызывалась действительною потребностью и справедливостью, рассмотрим, когда коснемся вопроса о способах пользования калмыками землей. Здесь же упомянем только о 8196 десятинах, прирезанных к соляным озерам, кои изъяты из пользования калмыками.

Как известно, в Больше-Дербетском улусе, близ р. Маныча, есть соляные озера: Джалгинское (самое большое), Ямалтинское, Красное, Царык, Шитинур и другие — незначительные. До уничтожения акциза на соль озера эти эксплуатировались непосредственно казной, затем они сдавались в аренду частным лицам. Так вот прирезка к ним земли и мотивировалась тем, что *при озерах будто бы необходимо иметь свободное место для выпаса быков и лошадей, принадлежащих лицам, приезжающим за солью...* Это восемь-то тысяч десятин для попаса быков и лошадей приезжающих за солью! Суть дела, разумеется, не в чужих быках и лошадях, а вот в чем. Арендные деньги платились в казну только за озера, земля же шла даром впридачу к ним и ничуть не увеличивала стоимости аренды. Между тем она-то и была главной статьей дохода. И только в 1893 году додумались до сути дела, отделили выпасную землю от озер и начали сдавать в аренду озера особо, а землю особо, чем сразу чуть ли не удесятерили доходность с нее.

Итак, по окончании ''раздела'' калмыцкой степи почти легендарные сказания о ее приволье начали мало-помалу переходить в область преданий. Массовый наплыв желающих поселиться на ней постепенно прекратился и перешел в единичные случаи единичных лиц, решавшихся, хотя временно, селиться хутором на той или другой калмыцкой даче, да и то всегда с разрешения калмыков.

Стесненный в свободе выбора места для жительства в калмыцкой степи, весь пришлый люд поневоле начал ютиться в русских селах и оттуда уже делать вылазки в ''калмычину''. В настоящее время этот пришлый безземельный люд успел образовать из себя довольно многочисленный так называемый *''иногородний элемент''*. Есть села, в которых ''иногородние'' составляют чуть ли не половину населения. В Ставропольской губернии, равно и в Кубанской области, с ними ведется уже ожесточенная борьба, их выживают всяческими мерами, но пока безуспешно, потому что иногородние успели обзавестись и усадьбами, и очень не бедным хозяйством, к тому же упорно отстаивают свое право *''жить по билету где выгодно''*, в чем юридически и неуязвимы.[1]

Последними могиканами в деле самовольного захвата калмыцкой земли, уже после окончательной разверстки ее, были крестьяне из Таганрогского округа. Крестьяне эти, в числе около пятидесяти семейств, в начале восьмидесятых годов приехали в калмыччину со всем своим хозяйством, даже с лесным материалом

[1] Недавно правительство издало распоряжение, по которому местным жителям предоставлено право облагать в свою пользу налогом иногородних за усадьбы, скот и пр. Право это слишком вредно отразилось на экономическом благосостоянии иногородних и дало могучее орудие для прижима их. Газета ''Северный Кавказ'' переполнена корреспонденциями из разных мест о неурядицах между иногородними и местными жителями. Вообще население Ставропольской губ. и до сих пор еще не упорядочилось и представляет обильный материал для исследователя.

для построек, стали табором близ р. Джалги, недалеко от впадения ее в р. Маныч, в одну ночь вырыли себе землянки и так прочно, точно в траншеях, засели в них, что полицейское оружие не могло выбить их оттуда. Поседние на ''хлопоты'' (выражение яшалтян) *три тысячи рублей* сделали то, что крестьяне эти — *ослушники улусной полиции* — не только остались на захваченном ими месте и образовали поселок, называющийся теперь официально *Яшалтой* и неофициально — *Дурноселовкой,* но совершенно уже на законном основании получили в надел из свободной калмыцкой земли две с лишком тысячи десятин и не в далеком будущем ожидают получить еще около шести тысяч десятин, о чем усиленно и ходатайствуют.

В настоящее время яшалтяие уже обстроились, имеют свое сельское управление, церковь, школу, два кабака и две лавки; население же возросло до ста двадцати дворов.

Но и после потери возможности так или иначе селиться на калмыцкой степи крестьянское население, особенно иногородние, и до сих пор еще не успокоилось и глубоко верит, что рано или поздно, а непременно должно наступить время, когда земля все-таки будет отобрана от ''*твари*'', т. е. калмыков, и распределится между безземельными русскими. Такая репительно ни на чем пока не основанная уверенность заставляет русских чутко прислушиваться ко всему, что делается в улусе, с завистью смотреть на калмыцкие дачи и с ненавистью относиться к самим калмыкам, видя в лице их виновников ''оттяжки'' времени раздела степи. В свою очередь и калмыки боятся крестьян и верят, что они отымут у них землю.

В продолжение пяти с лишком лет моего пребывания в калмыцкой степи мне сплошь и рядом приходилось сталкиваться не только с ''иногородними'', проживающими в пределах Ставропольской губернии и постоянно ''шныряющими'' по степи с целью разведки, нет ли где-нибудь какой-либо возможности поселиться на ней, но даже и с крестьянами, нарочито для той же цели пришедшими из отдаленнейших от Кавказа губерний, крестьянами, ''обивавшими пороги'' всех власть имущих с докучливой по своей недоверчивости просьбой указать, как и ''*каким способом можно приписаться на калмыччине*'', т. е. получить усадьбы и землю. При этом ищущие земли всегда до того глубоко уверены в своем ''*праве на землю*'', равно и в том, что от них *скрывают правду,* что не обинуясь высказывают свое недоверие в справедливости разуверений и разъяснений относительно отсутствия в калмыцкой степи свободных для их поселений дач. Когда же в 189 1/2 году нарезано было по Высочайшему повелению семь тысяч семьсот семьдесят две десятины для образования поселка из

крещеных калмыков Больше-Дербетского улуса, то по поводу права селиться на этой земле и *крестьянам* между последними началось настоящее волнение.

Факт этот весьма важен и в жизни калмыков, и для характеристики отношений крестьян к инородческой земле, почему мы и воспроизведем его с возможной подробностью.

По точному смыслу Высочайшего повеления, на отведенной под поселение крещеных калмыков земле могут селиться исключительно только выкрестившиеся калмыки Больше-Дербетского улуса. Этим правом не пользуются даже выкрестившиеся их сородичи других улусов — по той простой причине, что земля нарезана из дач душевого надела большедербетцев, а не из запаса. Если же таково ограничение для калмыков, то тем более крестьяне ни под каким предлогом не могли и не могут рассчитывать на возможность ''примоститься к крещеным калмыкам''. Относительно обхода этого вопроса не оставлено никакой лазейки в точно и ясно выраженном правительственном распоряжении об образовании ''поселка крещеных калмыков'', названного ''*Князе-Михайловским*''. Несмотря на это ''слух'' об образовании Князе-Михайловского поселка и о поселении в нем крестьян с быстротой телеграфных сообщений разнесся — не только в пределах Ставропольской губернии и Донской области — где также много ''иногородних'', — но даже и по отдаленным губерниям. Такой ''слух'', как и *всякий чисто народный слух о возможности получить землю,* будучи далеким от истины, варьировался на разные лады, и правда в нем искалась до невероятных, но в то же время вполне отвечавших надеждам народа предположений, которые поэтому и получили силу уверенности в справедливости ''*известия*'' и двинули в *Калмыччину* массу безземельного люда, торопившегося захватить ''*участочки*''.

Жалко, что здесь не у места говорить о подробностях этого движения. Мне же оно многими интимными своими сторонами известно потому, что мне пришлось близко стоять к делу устройства Князе-Михайловского поселка. Скажу только, что гораздо раньше фактического осуществления распоряжения о нарезке земли для предполагаемого поселка — народ ежедневно, чуть не сотнями, ''валил'' в Икичупусов род, из дач которого решено было выделить участок земли для поселения будущих князе-михайловцев. В течение же весны 1891 года там перебывали тысячи ищущих ''осадьбы'', т. е. возможности поселиться; приходили даже и из таких отдаленных мест, как Курская, Орловская и др. губернии. Все торопились прибыть в Калмыччину пораньше, первыми, и тем не упустить случая ''захватить'' свободное место. Все твердили, что где-то тут, в Калмыччине, отведена земля ''для поселения

православных за то, что они будут обучать нехристь'',— ''мы же православные; давайте нам пожалованную землю''!.. ''Пора православным сменить негодную тварь и образовать ее на крестьянский манер''. Для образования же ''твари'' и ''велено православным селиться на ее земле''. ''Что уж тут! Дело видное! Нечего морочить и скрывать правду!''... ''Мы эвона где, говорят другие, прослышали''. ''Небойсь — как бы не так — не было бы слуху меж православными. Ну скажи — отводят землю крещеным''. ''Отводят''... ''Значит, нечего и толковать... Сам говоришь, что отводят, да, видно, не договариваешь''. ''Мы тоже, поди, крещеные — что уж тут кривить душой!..'' И прочее в этом роде твердили с ожесточением, видимо, озлобленные словами разочарования бедняки, забившиеся в калмыцкую степь не только за сотни, но даже и за тысячу верст — в чаянии ''заполучить землю'', отведенную *''православным''*. И нет ничего удивительного, что ожесточение и озлобленность болезненно вызывались наружу несогласными с их упованиями и надеждами, но совершенно искренними и справедливыми разъяснениями — неосновательности веры ''в слухи'', заставившие бедняков напрасно забиваться в такую даль, как калмыцкая степь. Надежды же и упования были настолько сильны, уверенность в праве и возможности получить землю — так непоколебима, что не только слова и разъяснения, идущие вразрез с упованиями, не принимались в резон и считались *лукаво-корыстными*, но даже показывание ''бумаги за надлежащими подписями'', разъясняющей суть дела, решительно не имело никакого влияния в смысле разуверения ''православных'' в сбыточности их надежд, а напротив к ''бумаге'' даже и хорошо грамотные из ходоков относились особенно иронически-недоверчиво.

''Что ты нам суешь бумагу'',— слышалось всегда,— ''она, вишь, бумага!.. Знаем мы это сами. Поди не сегодня родились. Ну скажи нам — можешь ты сам ее написать?.. Можешь другому дать написать?.. Можешь!.. Ну... то-то... Так ты и не суй ее нам... А коли по душам говорить... Гм... Может, ты при народе стесняешься?.. Так пойдем в сторонку... Мы ежели что... во как ублаготворим... только скажи правду... а бумагу-то брось... Что уж дурачишь?..''

Правдивое и в этом случае, к тому же совершенно доброжелательное, отклонение ''переговоров на сторонке'' только еще более раздражало глубоко уверенных в своем праве крестьян.

''Так вы тут, значит, все за одно. Небось с других заполучили, а от нас хотите скрыть правду!.. Гляди... и на вас найдем управу!''

И с нескрываемой злобой против разрушающих заветные мечты, с уверенностью в корысти людской, с ропотом против

искателей правды,— одна толпа уходила сегодня; на смену ей завтра же шла другая, на другой день опять новая... и так в продолжение почти всего лета. Некоторые вновь раза по два и по три наведывались в поселок с самыми соблазнительными предложениями *открыть им правду... одну только правду...*

Глядя на этих людей, соблазненных искаженным слухом о калмыччине, гонимых нуждой за тысячи верст искать ''осадьбы'' и земли, где можно было бы не держать ''курей на привязи''; сталкиваясь с их тупым, обидным подчас недоверием к словам искреннего доброжелательства,— стыдно было сердиться на слишком уже прозрачные намеки на лукавство, подвохи и желание ''сорвать'' за *открытие правды*. Напротив, об этих бедняках, скажем без жеманства, приходилось только бесконечно сожалеть и в то же время задумываться над прошлым калмыцкой степи и о той цене, какой покупалась правда и нелегальное право селиться на ней,... да еще о тех чувствах враждебности и последствиях ее, какие испытывали калмыки при виде налетевших на их землю хищников (с точки зрения калмыков)... Оставляя же поселок, движимая надеждой поселиться в нем толпа шла в г. Ставрополь-Кавказский и там сотнями подавала прошения о причислении в *''крещеный поселок''*. Просьбы подавались не только губернатору и приставу кочующих народов, но даже архиерею и ректору духовной семинарии. И все это в надежде: ''авось, мол, если не там, так здесь выплывет наружу страстно желаемая правда об *''осадьбах на калмыччине''*. Лично мне совершенно неожиданно и от совершенно неведомых мне крестьян приходилось получать письма из Курской и Воронежской губерний со ''слезной просьбой'' и ''припаданием к стопам ног'' ''не оставить несчастные семьи'' и уведомить, куда и к кому следует обращаться с просьбой о приписке к ''крещеному поселку''...

Уверенность в полной возможности приписаться к крещеному поселку еще более увеличивалась от того, что в поселке была уже выстроена церковь. Вид ее бесконечно смущал преисполненные надежд сердца и умы крестьян...

''Чтой-то!'' — слышалось от всех,—''неужели это для твари? Гляди — ведь она, тварь, и ходит-то в церковь в своей поганой одёже... Бабы в шапках... в штанах... с трубками... Одна скверность... Нет — тут без хрестьян дело не обойдется...! Что же, что *крещеные!* Видимость одна, больше ничего! Помешать их нужно с православными... Тогда, може, и выйдет толк... Так оно и будет... И караулить ее, матушку, некому...''

С надеждой на *''мешанцу''*, т. е. на поселение ''искони православных'' с ''выкрестами'',— вновь, и с новой силой и упорством первые принимались хлопотать и, разумеется, все

напрасно!.. Иные из пришлецов просили принять их за обязательство всю жизнь служить даром сторожами при церкви; другие — церковными старостами; те — безвозмездно обучать калмыков огородничеству, земледелию, мастерствам... были и такие, что соглашались даром кормить вдов, сирот; хотели жениться на калмычках или же отдавать своих дочерей за выкрестов... Словом, готовы были на всевозможные жертвы, лишь бы ''получить осадьбу и осесть''... И пусть извинит меня миссионер Князе-Михайловского поселка иеромонах Мефодий за невольный с моей стороны упрек по его адресу за то, что он, не имея на то ни малейшего права и основания, решился смутить некоторых крестьян, подав им надежду, даже уверенность в осуществлении несбыточной мечты о причислении их к Князе-Михайловскому поселку. Упоминаю об этом потому, что сучилось это в 1893 году, когда страсти уже улеглись было, отец же иеромонах вновь пробудил к жизни задремавшие мечты о правах на поселение среди новокрещеных... Но не он один льстил заветным желаниям крестьян... Бывший волостной старшина с. Большой Джалги (Ставр. губ.) сумел воспользоваться слепой верой ищущих земли и без стеснения эксплуатировал их. Он успел и сумел уверить простецов в своем знании, как направить их на путь, которым можно добыть землю на калмычине, за написание же безграмотных прошений брал *''по рублю с семьи''*... Вообще очень жаль, что наплыв ''крестьянства'' в крещеный поселок не получил в свое время должной отгаски... Им многое можно было бы осветить из прошлого захвата калмыцких земель и отчасти уяснить причины существующей ненависти и презрения крестьян к калмыкам и наоборот...

Так по 1894 год окончилось дело разверстки калмыцкой земли и заселения ее, и таково в общих чертах неприглядное прошлое судьбы ''ордынской степи''. Из всего прошлого одно только хорошо, что калмыки так или иначе, но имеют уже свои определенные дачи и ограждены пока от возможности захвата их. Но прежде, чем говорить о том, как калмыки пользовались и пользуются землей и на чем основаны их юридические права на нее, предварительно скажем, что за народ калмыки, познакомимся в общих чертах с его историей, бытом и правами.

II.

Из исследований генерал-майора Завалишина, произведенных им в начале текущего столетия и вошедших в состав ''Полного Собрания Законов'' в виде приложения к указу 1806 г., номенцен-

ному в XXIX томе, видно, что ''калмыцкая орда'' под предводительством своего хана Хо-Урлюка в 1630 году пришла в пределы Европейской России из Великой Татарии, т. е. Монголии, захватила приволжские степи и сразу же подчинила своей власти кочевавших по обоим берегам реки Волги и южным притокам ее — татар, туркмен, ногайцев, кара-ногайцев, эдиникульцев, эдисанцев и др. Покорив эти народы, Хо-Урлюк, предводительствуя воинственными калмыками, задумал восстановить угасшую Золотую Орду и сосредоточить управление народом в г. Астрахани. С этою смелою целью он вскоре по прибытии и закреплении за собой приволжских степей решился сделать нападение на г. Астрахань. Хо-Урлюку удалось разгромить предместья города, разграбить имущество жителей и выжечь все постройки, находившиеся вне крепости. Самой же крепости, за смертию хана, калмыкам не удалось взять, и они отступили в глубь своих степей.

Преемник Хо-Урлюка, его сын, хан *Шункур-Дайчин*, не будучи таким воинственным и смелым, как Хо-Урлюк, но отличаясь чисто азиатской хитростию и лукавством, отказался наружно не только от желания восстановить Золотую Орду, но и вообще от попыток образовать самостоятельное ханство из своего калмыцкого народа. Дабы уверить в этом наше правительство, Шункур-Дайчин отправил своих послов в Москву к царю Алексею Михайловичу с изъявлением желания *''быть у Московского царя в вечном и полном послушании''*, в чем и была принята от послов присяга. Но ''вечное и полное послушание'' на деле не исполнялось. Мало этого — Шункур-Дайчин, помимо желания и даже ведения московского царя, возведен был Тибетским *Далай-Ламой* в титул хана и получил от него все знаки этого сана (тамагу и пр.). Положим, для видимости, дабы усыпить подозрительность московского правительства, хитрый калмыцкий хан как бы отклонил принятие от Далай-Ламы льстившего его самолюбию титула, но в действительности поступал как полновластный хан, необязанный никому подданством, ни во что не ставил распоряжений и требований нашего правительства, продолжал делать нападения и грабежи в поселениях русских подданных и уводил их в полон. Грабежи и нападения до того были дерзки, смелы и постоянны, что наше правительство, бессильное смирить калмыков своим оружием, сочло необходимым путем ласки вновь склонить ''ордынцев'' к присяге в том, что они оставят разоры московских людей и сами будут верными подданными царя, милостиво давшего им степи под кочевья.

Такая присяга и дана была, но уже не Шункур-Дайчином, а его сыном *Пунцуком* в 1661 году. В свою очередь эта присяга, как и первая и последующая за нею, оставались только бумажным

актом, в существе дела мало и даже вовсе не сдерживающим проявления разбойнических инстинктов дикой и своевольной калмыцкой орды. Требования же исполнения присяг не подкреплялись с нашей стороны штыками. Калмыки хорошо понимали слабость московского правительства и, не сдерживаемые силой его оружия, являлись истинным бичом для своих соседей. Они нападали даже на воинственных кавказских горцев, разоряли их аулы и особенно старались увести оттуда как можно больше женщин, с которыми и вступали потом в брак. Присяга ''в вечном послушании'' в особенности оставалась мертвой буквой во время управления калмыцким народом знаменитого хана *Аюка*. Аюк-хан самовластно правил калмыцкой ордой около пятидесяти лет, отличался умом, хитростию, пронырливостью, умением пользоваться всеми обстоятельствами и нетерпимостью ко вмешательству в свои дела. Он был одним из любимейших калмыцким народом ханов; память о нем и до сих пор еще не умерла, и народ прославляет его в своих сказаниях и песнях, как героя, славу и гордость свою. Действительно — со смертию Аюк-хана умерла и слава калмыков и, разумеется, не воскреснет.

Властолюбивый Аюк-хан — не так, как лукавый и трусливый Шункур-Дайчин,— не стеснялся открыто принять от Далай-Ламы ханское достоинство со всеми присвоенными этому сану регалиями. Считая же себя полновластным ханом, он не обращал ровно никакого внимания на требования и угрозы московского правительства, что хотел, то и делал, где хотел, там и грабил, и разбойничал, и уводил в плен не только ''магометан'', но и русских. Все Поволжье — до Самары и Симбирска, а также и обитатели Моздокской степи трепетали калмыцкой орды...

Аюк-хан входил даже в сношения с крымскими ханами, принимал от них и посылал к ним своих послов; ходил со своим войском к берегам Черного моря — словом, он только фиктивно признавал свою зависимость от ''Московского царства''.

Последующие за Аюком калмыцкие ханы: *Церен-Дондук, Дундук-Омбо, Дундук-Даши и Убаши* так же, как и Аюк, но с меньшим самовластием, продолжали управлять калмыцкой ордой и, пользуясь всяким удобным случаем, так же безнаказанно производили грабежи и разбои, не только в селах, но даже и в городах, и уводили в плен по преимуществу женщин. На требования же правительства ''прекратить неистовства орды'' и выдать виновных, ханы обычно отвечали, что ''таковых нет''. А так как требования наши не подкреплялись воинскими командами, то поневоле и приходилось успокаиваться такими лживыми ответами и до поры до времени терпеть дикое своеволие ордынцев.

Только с 1771 года — когда русское правительство смогло

наконец с пушками и штыками обратить свое внимание на своеволия калмыцкой орды, разместило в ее кочевьях постоянные воинские команды, строго ограничило самодержавие ханов и заставило их подчиниться контролю местной русской администрации,— нападения на села и города не шайками, а правильно организованными отрядами, наконец, мало-помалу прекратились. Мелкие же разбои, хотя и продолжались, как продолжаются теперь, но уже чем дальше, тем все с меньшей и меньшей силой и смелостию, не так открыто и не в таком количестве случаев.

В том же 1771 году калмыки, недовольные ограничением своих вольностей и активным вмешательством русских властей в их дела, под предводительством хана *Убаши*, огромной частию своей орды покинули пределы России и бежали на свою родину, т. е. в Монголию,— где и живут до настоящего времени под именем *Олютов*[1].

Побег калмыков в Монголию, но еще в большей степени разгром пугачевского бунта, в котором калмыки принимали самое деятельное участие, за что жестоко и поплатились, окончательно смирил калмыцкую орду и дал возможность нашим властям *уже по-настоящему* взять ее в руки и, как увидим ниже, закрепостить и обратить свободолюбивых, не знавших рабства обитателей степей в полных рабов. Положим — к последнему московское правительство стремилось с первых же годов прихода орды в Приволжье и в этом видело единственное средство смирить калмыцкий народ, но, будучи бессильным, смогло осуществить свое желание только в конце прошлого столетия.

Таким образом, начало семидесятых годов прошлого столетия следует считать концом более или менее самостоятельной, хотя и вредной для соседей, исторической жизни калмыцкого народа. С этого же времени для калмыков, в свою очередь, начинается скорбный мартиролог всяческих притеснений *''простолюдинов''* отчасти ''по закону'', как должное возмездие за ''бесчинства'', но в несравненно большем числе случаев по произволу и алчности разных власть имущих лиц; такая система водворения порядка среди калмыков не могла, само собой понятно, искоренять хищнических инстинктов этого народа, напротив — разжигала их страсти и в конце концов довела калмыков до современного нам нищенского их состояния.

---

[1] В бытность мою в Монголии в 1883 году мне некоторое время пришлось прожить среди Олютов. Интересными их воспоминаниями о времени пребывания в России и о том, что они испытали во время бегства (войны с киргизами и пр.) я думаю вскоре поделиться. Кстати замечу, что Олюты и до сих пор не потеряли еще сношений с нашими калмыками.

Прошлое калмыков, в особенности с начала настоящего столетия, сплошь характеризуется хищением их богатств, стремлением к обезличению, принижению до крайних пределов рабства этих своеобразных, не знавших гнета нищеты и позора рабства диких сынов первобытных степей, унедших из Монголии — именно потому, что китайцы сделали попытку дисциплинировать их...

Общими усилиями ''воздействователей на культуру калмыков'' достигнуто в конце концов то, что калмыки не только ни на шаг не двинулись вперед в деле социально-экономического своего развития, но напротив — пригнетенные разными нойонами, попечителями, опекунами, приставами и др., обобранные ими и разными пришлецами — обнищали, нравственно извратились, потеряли веру в справедливость и человечность официальных и неофициальных ''воздействователей'', стали в неприязненные отношения к ''культуртрегерам'', замкнулись в своей гнилой скорлупе и сделали крутой поворот назад, до болезненности ревниво охраняя свои бытовые особенности и устраняя все то, что могло бы сблизить их с соседним русским населением. И только со средины восьмидесятых годов, когда в силу многих причин от прежнего богатства скотом у калмыков остались одни лишь воспоминания, других же, кроме скота, источников для добывания средств к жизни в наличности не оказалось — народу волей-неволей пришлось задуматься над своим положением и в потемках исковерканной во всех отношениях жизни искать просвета и средств поддерживать свое жалкое существование и выхода из гнетущей со всех сторон нищеты.

Оставляя в стороне описание типических особенностей калмыков, как давно уже общеизвестных, скажем только, что со времени своего прихода в Россию и до начала восьмидесятых годов настоящего столетия все калмыки Больше-Дербетского улуса, как и их сородичи — астраханцы, оставались такими же номадами скотоводами, какими были и на своей родине — в Монголии, и жили в таких же кибитках (войлочных шалашах), как и их прародители; не оставили кибиток они и теперь, за исключением богачей, обзаведшихся, как увидим ниже, избами и даже домами. Сила привычки жить чуть не под открытым небом и до сих пор еще такова, что калмыки, вполне уже ознакомившись с русскими избами и поняв преимущества последних пред кибитками, зимой все-таки не могут жить в ''хате'', не платившись за то головной болью. В этом отношении зимой 1891 года можно было наблюдать довольно любопытное явление, казавшееся необъяснимым для незнакомых с калмыцким бытом. Расскажем,— ибо оно характерно.

Для крещеных калмыков Князе-Михайловского поселка в

1891 году выстроили около пятнадцати крестьянских изб и уничтожили кибитки, дабы тем заставить калмыков забыть про патриархальные их жилища. Казалось бы — чего лучше? Не только дырявая (а таковых громадное большинство), но даже и новая кибитка служит, по-видимому, весьма плохой защитой от зимних вьюг и холодов, летом же от пыли, дождей, бурь,— единственно защищая только от летнего зноя[1],— крестьянская же изба не только летом, но в особенности зимой, даже мало или же вовсе не топленная, в непогодь несравненно лучше кибитки; с точки зрения оседлого человека между ними даже и сравнения быть не может. Но это по нашему мнению так,— по-калмыцки же наоборот. Сносную кибитку он не променяет на хорошую избу, что фактически и доказали княземихайловцы. Вынужденные жить в избах — они, когда пришла зима и на дворе нельзя уже было приготовлять пищу, поневоле начали топить печи. Но, дабы не мучиться в *тепле и духоте несвежего воздуха,* ''выкресты'' не затворяли дверей, а даже в самые трескучие морозы оставляли их открытыми не только в сенях, но и у входа в теплое помещение. Очевидно, сила привычки — быть всегда на свежем воздухе, хотя подчас и растворенном едким дымом, у калмыков настолько велика, что *удобства* жить в тепле и полном затишье от непогод и зимних вьюг,— удобства столь необходимые для нашего крестьянина,— кочевниками улуса, жившими с вековечных времен в кибитках — не только ставятся ни во что, но даже и не кажутся таковыми. Мало этого — опыт поспешного водворения ''выкрестов'' в избах, пренебрегший соображением о силе привычки их к иному образу жизни и жилищу, имел и гибельные последствия.

Положим, у многих калмыков, в особенности Бюдурмисова, Кюбетова, Бага-Бурулова, Абганера-Гаханкинова и Икитуктунова родов — крестьянские избы были заведены гораздо ранее, чем у княземихайловцев; но хозяева изб, имея их, никогда не бросали кибиток. В избе зимой скорее можно встретить отелившуюся корову, овцу, всегда телят и ягнят, но не калмыков. Только бедняки, у коих кибитка делалась к зиме никуда не годной, во время сильной вьюги и метелей по необходимости решались

[1] В 1889 году мне пришлось прожить лето и осень до декабря месяца в кибитке. Но это было мучение, а не жизнь. Летом не было спасения от пыли — пища, одежда, тело — все сплошь покрывалось ею во время почти беспрерывных восточных ветров, осенью же холод не позволял освободиться от шубы. Раскладывать огонь в кибитке — не было возможности, потому что едкий дым от *аргала* (скотский помет) ''выедал'' глаза и нечем было дышать, так что холод казался лучше приобретенных с такою потерею существенных удобств жилища.

временно селиться в избах с тем, чтобы весной во всяком случае покинуть их.

В *Кердаше*[1], например (Бюдурмисов род), у калмыка *Дордже-Джембинова* есть даже прекрасный дом в несколько комнат, с крашеными окнами, дверьми, полами, под железной крышей, с крытой стеклянной галереей; но Джембинов живет не в нем, а в кибитке, которая и ставится зимой тут же во дворе пред домом, а летом в степи. На вопрос же: зачем построил дом, если не живет в нем — Джембинов отвечает, что — *''для детей''*. Предусмотрительность далеко не лишняя,— так как более чем вероятно, что дети современных нам калмыков покинут кибитки и будут жить уже в избах.

В былую пору, когда у большедербетцев была масса собственных овец, кибитка стоила не особенно дорого — не более двадцати-тридцати рублей, да и то больше платилось за дорогое в степи дерево, нужное для решетчатого остова ее. Теперь же, когда овцеводство сделалось единичным достоянием богачей, у массы же народа нет и ''хвоста овечьего'', ценность кибитки настолько значительно увеличилась, что по дороговизне своей для значительного большинства сделалась очень мало доступной. Бедняки целыми годами упорного труда по селам в качестве пастухов и чернорабочих кое-как ''сколачивают'' средства на приобретение и притом не всегда новой кибитки. Некоторые же и вовсе уже не имеют таковых и вынуждаются строить *землянки*, в коих постепенно и вымирают.

Что касается крестьянской избы, то таковая в степной части Ставропольской губернии довольно сносная, с сенями и тепловым помещением стоит гораздо дешевле кибитки. Плохая кибитка с крестьянской работы полстями, т. е. тонкими и набитыми для плотности мелом и отрубями — стоит не менее восьмидесяти рублей и затем чрез три года, не более, обращается в кучу лохмотьев, особенно с подветренной стороны; лучшая же кибитка с более плотными и чистыми полстями калмыцкой работы ценится от ста до двухсот рублей и держится в пригодном для неприхотливых калмыков виде не более пяти-шести лет, причем последнее возможно только при ежегодном ремонте ее. Но такие кибитки в настоящее время могут иметь только богатые калмыки, у коих есть свои овцы, или же кои усиленно занимаются земледелием; тех же и других, т. е. земледельцев и скотоводов, *не более одного* на сто душ общего числа населения Больше-Дербетского улуса. Стоимость же крестьянской избы, экономически построенной, обходится калмыку никак не дороже семидесяти рублей, и последняя может служить десятки лет при затрате на ремонт ее только личного труда да глины для обмазки. Последнее необходимо потому, что в степной части Ставропольской губернии все избы строятся главным образом из *''самана''*, т. е. сырцового кирпича[1], который с выделкой и кладкой в стены ценится от восьми до десяти рублей за тысячу,— идет же его на избу — десяти аршин длины и шести ширины — никак не более двух тысяч. Самым дорогим материалом при постройке избы служит лес, доставляемый в степь — либо из г. Ростова-на-Дону, либо Царицына и низовых волжских пристаней, т. е. за триста верст от Больше-Дербетского улуса. Нельзя сказать, чтобы калмыки не понимали преимуществ избы пред кибиткой, сравнительную дешевизну первой и ее несомненную прочность; обнищав, кочевники начали уже усиленно заботиться, впрочем не во всех *родах*, о постройке хат, но сами все-таки не решаются жить в них. Нерешимость эта, несмотря на очевидную нужду обменять кибитки на избы, кроме врожденной непривычки жить в тепловых помещениях, объясняется главным образом *боязнью того, что если народ бросит кибитки и перейдет в избы, то вслед за этим сразу, ''без разговоров'', всех выкрестят, отнимут землю, припишут к крестьянским обществам и запретят называться калмыками.* Глубокая в этом уверенность *не только сильно способствует упорному отстаиванию традиционных привычек и взглядов на образ жизни, но и в высшей степени тормозит дело сближения с крестьянским населением и занятие земледелием.*

Если бы не боялись потери своих национальных особенностей, а с ними *''прав и привилегий''*, калмыки давно уже бросили бы кибитки и жили бы в избах, не дожидаясь, пока их, как крещеных княземихайловцев, поселят в них. Говорю это не голословно, а на основании знания интимной, так сказать, стороны жизни большедербетцев, с которыми я жил в самых непосредственных сношениях, почти их жизнью.

В ревнивом обережении своих внешних особенностей калмыки со своей точки зрения, пожалуй, и правы. В сущности, разумеется, изба как изба ни при чем; но дело в том, что с ней или, вернее, с решимостью жить в ней тесно связан весьма важный шаг к перемене всего экономического строя жизни калмыков. Перейдя в избу, им пришлось бы *окончательно осесть*, а осевши — *иначе распределить пользование землей*, чем теперь, при передвижени-

[1] *Кердаша* — имеется в виду Кердата. (**Примеч. ред.**)

[1] В упомянутом нами выше с. Яшалта церковь выстроена из саманного кирпича.

ях с кибитками с места на место. Ибо нельзя было бы тут же, возле избы, и выпасывать скот, и косить сено. Не развивая этой мысли, скажем только, что *осевши*, калмыки твердо ступили бы на первый путь земледельческой культуры... Невольно приходится высказать сожаление, что в жизни калмыков и до сих пор вся и все способствует не к тому, чтобы убедить их в бесполезности и вреде упорного поддерживания прежнего образа жизни, потерявшего всякий практический смысл и даже невозможного в силу радикально изменившихся экономических условий,— но к тому, чтобы еще более запугать их разными строгостями и ненужным вмешательством в мелочи их жизни.

Запуганные разными официальными и неофициальными просветителями, не слыша на русском языке живого ласкового слова, слова, которое не сопровождалось бы внушительными начальническими интонациями, разными *''подскакиваниями''*[1], угрозами и закреплением правдивости таковых *''казаками''* — калмыки, естественно, относятся *ко всему и всем не своим* крайне недоверчиво, подозрительно, плотнее смыкаются и упорнее силятся сохранить свою обособленность, хотя и ясно понимают весь вред от такого упрямства и сознают, что *конец* их уже близок и что из нищеты им иначе не выбиться, как стряхнувши с себя всю свою старину.— Но этого-то они и не хотят делать. Потеряв все, нищенствуя до последней степени, сбившись с толку, калмыки все-таки продолжают цепко держаться своих прадедовских обычаев; цепко потому, что над этими обычаями, составляющими *душу народа*, ругаются, смеются, безжалостно смешивают с грязью самые святые его чувства, насилуют природу и отказываются понимать, что такими *''способами влияния на народ''* прямым путем достигается то, что для калмыков делается ненавистным даже все то, что воочию говорит им о своей полезности, что практически пригодно для них и легко осуществимо в их быту. Калмыки почти безпащитны; у них нет орудия, с помощью которого им разумно можно было бы отражать непрошенное вмешательство в их жизнь. Любому охочему человеку нет никакой трудности навязывать им свои просветительные задачи. Раз же в основу этих задач положено презрение к народу и надругательство над его национальными особенностями, то естественно, что выполнение таких задач приносит только вред болезненно относящимся к своей судьбе калмыкам, чутко прислушивающимся ко

[1] Так выражались калмыки, высказывая свои впечатления о ''речах'' к ним одного из начальств, мнившего, что он понимает народ, а народ его, почему и любившего мучить народ бесполезными разглагольствованиями.

всему, что клонится к изменению их жизненных устоев, и отталкивающим все непрошенные вмешательства во внутренний их мир... И мрут бедняки, сотнями мрут от разных болезней и невзгод,— мрут потому, что дырявая, плохая кибитка и вечно полуголодное существоваание не дает возможности и сил бороться с болезнями,— на помощь же им именно в нужную пору без официальностей никто не приходит. Умирая же — открыто не ропщут, а только с болью в сердце поверяют друг другу свои скорби *о потере права в нужный момент без проволочек пользоваться доходностию со своей земли*[1]. Представьте себе (говорю о действительном факте) суровую зиму, бугры снега вокруг дырявых кибиток и в последних — больных оспой и брюшным тифом... В семье нет ни одного здорового... Некому дать помощи, подать напиться воды, прикрыть обнажившееся тело... Холод и ветер свободно гуляют по кибитке... Жажда и голод мучит... Есть буквально нечего... Не правда ли — поразительная, много говорящая картина?.. К тому же не выдуманная, а существовавшая в 1893 году (о ней речь будет впереди)... Знают калмыки, что им лучше было бы в хате, понимают, что живи они *''орос зангар''*, т. е. по-русски — не терпели бы тех невзгод, какие терпят теперь... Но что же делать, когда этот ''орос зангар'' им насильно навязывают и силятся регламентировать каждый их шаг, подавляя всякое проявление личной инициативы и стремясь водить уже взрослых людей на административной веревочке без права распоряжаться даже своим карманом, причем последнее делается под предлогом якобы *''забот о благосостоянии народа''*.

Чтобы судить об экономическом благосостоянии калмыков, достаточно раз проехать чрез Большие-Дербетский улус, не расспрашивать никого и ни о чем, а только смотреть на калмыцкие кибитки. В иных местах они представляют из себя сплошную кучу черного и серо-грязного тряпья, кое-как держащегося на деревянном остове кибиточной решетки, и только изредка мелькают целые, не ободранные кибитки. За недостачей войлока дыры заштопываются чем попало: и кусками старой рубахи, и полой бешмета, и обрывками мешка. Только осенью с наступлением ненастной погоды и холодов калмыки, жертвуя иногда последним теленком, покупают кусок полсти, чтобы ''залатать'' ту сторону кибитки, у которой спит семья. Вид таких жалких жилищ немо, но вполне доказательно свидетельствует о нищете народа, *имеющего около четырехсот тысяч общественного капитала, родовые суммы и тридцать десятин душевого надела.*

[1] Как это случилось и в чем суть — мы вскоре объясним.

Живя в такой жалкой, лишенной не только удобств, но и возможности защиты от непогод кибитке, калмыки отличаются также крайней неприхотливостью и ограниченностью до минимума в своих потребностях. Нельзя сказать, чтобы даже плохая кибитка устраняла возможность поддерживать в ней порядок и чистоту, но привычки к этому нет в натуре калмыка.

По внешнему своему виду он грязен до невозможности, грязно и все то, что есть у него в домашнем обиходе. Посуда никогда не моется и не вычищается, если не вылижут ее собаки,— почему всегда и покрыта толстым слоем грязи, образующейся из молочных и других осадков. Молоко — эта единственная повседневная пища — с навозом и волосами; одежда всегда перепачкана, засалена и в дырах, исправляется редко; лицо, в особенности же голова, шея, уши и руки, покрыты грязью; вши везде в невероятном количестве... Все пропитано неприятным запахом копоти, который присущ каждому калмыку, как нечто специфическое. Где бы он ни появился, не видя его, по одному только запаху можно узнать о присутствии ''твари'' (т. е. калмыка). Если случится калмыку раздобыть себе где-либо кусок мяса, то, не обращая внимания на то, что оно ''вываляно'' во всякой нечисти, он преспокойно, не мывши, варит его. Вместо воды — пьет всегда какую-то муть из невообразимо грязной посуды, сделанной (нередко) из кожи. Нечистота воды еще более увеличивается от того, что в той же посуде, которой черпается вода из копаней, держится и молоко и навар с мяса кот. В кибитке все в беспорядке навалено, все скомкано и измято... Словом — беспорядок, неряшество, грязь, полное отсутствие понятия о чистоплотности — можно назвать родной стихией нашего калмыка. Единственно, чем он дорожит и что старается держать по возможности в чистоте и порядке — это седло, ташмак (плеть), пояс и сапоги.

Седла у калмыков обыкновенного казачьего образца, плеть же делается толстой и весьма искусно плетется. Сила удара ташмаком такова, что калмык совершенно свободно может убить им человека, изломать ребро и спину лошади и быку. В видах такого опасного свойства ташмака существует распоряжение, запрещающее калмыкам иметь у себя ташмаки, кои и отбираются не только власть имущими, но всяким частным человеком, буде к тому он имеет охоту. Но калмык до того любит иметь при себе ташмак, что не только верхом на лошади, а даже и пешком никуда не выходит без плети и, если боится брать свою толстую, то заменяет ее тонкой нагайкой, держать которую ему не возбраняется.

Пояса калмыки носят ременные, украшенные чеканным узорчатым серебром, нередко вызолоченные чешуйчатые; такие пояса ценятся очень дорого, от ста до двухсот и более рублей.

Что же касается сапог, то калмыки любят, чтобы они были непременно с длинными голенищами на высоких с подковками каблуках. Страсть иметь хорошие сапоги многих из них заставляет отказывать себе в самом необходимом, лишь бы раздобыть деньги на покупку щегольской обуви. В особенности к тому склонна, как водится, молодежь. Женщины и старики носят сапоги из красной сафьяновой кожи.

О шапках национального калмыцкого покроя стоит упомянуть уже потому, что образец их позаимствован нами для наших почтовых ямщиков и кучеров и сделался обязательной форменной принадлежностью последних. Женщины же и девушки носят обыкновенно низенькие желтые с черным околышем шапочки, в торжественных же случаях молодые украшают *''малал''* (шапки) густой красной бахромой,— а старухи надевают шапки одинакового покроя с мужиками.

Не будучи разборчивым в пище, калмык ест все и во всяком виде, не исключая даже падали. Только собаки и кошки пойдут ему в пищу. Всему же как гастрономическое блюдо предпочитается козье и баранье мясо. Последнее считается даже лекарственным — именно крепкий с него навар — называемый ''шулюмом'',[1] калмыки употребляют как лекарство. Нужно заметить, что калмыки вообще при заболеваниях до наступления кризиса или же выяснения характера болезни пьют одну только холодную воду и ни за что, ни под каким видом не употребляют другой пищи и только при начале выздоравливания пьют из чашек бараний шулюм. Хлеб все очень любят, но печь *эдмык* (хлеб) не умеют. Их *''пышки''* неудобосъедобны. Приготовляются они так. В воде без соли круто замешивается тесто из ржаной или пшеничной муки; затем делаются нетолстые калачики или лепешки, которые и пекутся в горячей золе. Еще горячими их кое-как, разумеется, не обращая внимания на прилипшую к ним золу,— можно есть; но когда они засохнут, то нужно иметь калмыцкие зубы, чтобы возможно было разгрызать такие *''пышки''*.

Кроме пышек, из муки же приготовляется *''будан''*, это — молоко, смешанное с мукой и прокипяченное в котле. Бедняки же приготовляют будан просто на одной воде.

Богатые лакомятся также *''бормонциксами''*,[2] т. е. шариками из пшеничного теста, жаренными на бараньем сале. Все вообще калмыки любят капусту, лук, картофель, огурцы, дыни и арбузы.

---

[1] *Шулюм* — имеется в виду шулюн. **(Примеч. ред.)**

[2] *Бормонциксы* — искаженное от ''борцики''. **(Примеч. ред.)**

Капусту и лук едят в сыром виде, последний даже без хлеба; на свежесть арбузов и дынь также не обращают внимания. Но, несмотря на любовь к огородным овощам, никто из калмыков, за весьма редкими, единичными из всей массы населения исключениями, не занимается огородничеством.

Самой же обычной, постоянной и незаменимой пищей служит *''калмыцкий чай''*. Для приготовления его покупаются большие плиты прессованного чайного сора, в котором попадаются прутья, мыши и даже, хотя и редко, змеи. Нужная для варки часть плиты мелко крошится ножом и затем толчется в порошок и бросается в кипящую в котле воду. После достаточного кипения к чайному навару прибавляют соль, муку, бараний жир или же масло, и чай готов. Пьют его из деревянных маленьких чашечек с хлебом и пышками, если таковые есть. Когда же выпьется вся жидкость из котла, то *''шару''* (твердые части чая) собирают в особо имеющийся для того холщевый мешочек, выжимают влагу и сушат, дабы потом опять из *шары* варить чай, и это повторяют до тех пор, пока шара совершенно перестает окрашивать воду и сообщать ей особый вкус. Богатые сдабривают запах ''чая'' порошком из мускатного ореха, но это уже роскошь, допускаемая бедняками только в дни годовых праздников, да и то не всеми.

Все вообще калмыки очень любят чай, и он для них обратился в органическую потребность, без него они *''скучают''* и при наймах в работники ставят непременным условием, чтобы поили их чаем — иначе, как они говорят, ''живот болит и работать нема''. Дома, в своих кибитках, они постоянно пьют чай не только днем, но даже и ночью и в невероятном количестве. Мой хороший знакомый, кстати сказать, редкий по уму и сердцу калмык, зайсанг *Бадьма Лапинович Опогинов* выпивает по полуведру за раз и пьет его два раза в день — и таких *любителей* немало в калмыцкой степи.

Чай калмыцкий, в существе дела, есть не напиток, а пища, к тому же довольно сытная и своеобразно вкусная, если хорошо приготовлена. К употреблению его привыкли не только наши крестьяне, но и деревенская ''интеллигенция'', сиречь купцы, писаря и духовенство. Не нужно забывать, что калмыцкий чай как пища сравнительно очень дешев. Плитка его, по-местному *''кирпич''*, стоит от рубля восьмидесяти копеек до двух рублей тридцати копеек; весит два с половиною фунта и более, такого же кирпича на самую большую семью достаточно на целый месяц; бедная же семья при экономии довольствуется — и без лишений — половиной плитки в тот же срок.

В былую пору, когда калмыцкая степь изобиловала большими табунами лошадей, гуртами скота и массою овец, каждый калмык

ел мясо вдоволь и не знал, что значит нужда в молоке. Теперь же молока у него не всегда достаточно, а у многих и совсем его нет; мясом же калмык редко лакомится, да и то добывает его большей частию воровским путем. В общем же — почти все калмыки живут впроголодь, томимые вечной жаждой раздобыть где-либо семье и себе кусок хлеба и ''махану'' (мяса), для чего постоянно и шляются по русским селам и хуторам, выпрашивая и покупая под покосы и посев муку и собирая объедки. После заговенья всегда можно встретить в селах десятки ободранных, жалких, изможденных бедняков, мужчин и женщин, шныряющих из избы в избу с целью выпросить *''погана кусок''*, т. е. остатки скоромной пищи, в каком бы виде она ни была. ''Хурсак голодна'' (желудок пустой) ''кушай нема'' (есть нечего) — вот обычная тема калмыков при встрече с посторонним человеком, раз последний заведет речь о его житье-бытье... И это до такой степени нищенства дошел когда-то гордый, дикий, властный народ, считавший свой скот тысячами табунов, овец десятками тысяч стад, не знавший, что такое нужда, делавший хищнические набеги ради удали, а не куска хлеба, как то есть теперь... ''Наша байгуи стала'', говорят калмыки, т. е. ''мы стали бедняками''... Но что довело народ до такого состояния? Вопрос этот мы постараемся решить в своем месте,— теперь же продолжим начатое, т. е. рассказ о быте большедербетцев.

Имея возможность и со стороны религии, и обычного права быть полигамистом, калмыки почти все без исключения строго придерживаются моногамии и в домашней своей жизни, равно и в отношениях к жене, далеко не деспотичны и в дела жены не любят вмешиваться. Если и бывают драки между мужем и женой, то случается это только лишь в состоянии опьянения мужа или жены, а нередко и обоих вместе. Напротив, по моим наблюдениям, калмыки всячески избегают ссор с женами и ''заводить'' их с женщиной, хотя бы и женой, считают ниже своего достоинства. К тому же мужчины (не говорю уже о женщинах) совершенно чужды сквернословия: всякую ругань считают ''кислым словом'' и презирают любителей ''словесной кислятины''. Даже русская классическая ругань — не как у других народов, пользуется презрением. В отношениях между собой старики пользуются большим почетом и уважением — молодежь безгласна пред ними. ''Стар человек'' — лицо, застрахованное от оскорблений.

Положим — по обычаю всех восточно-азиатских народов — калмыки также всю заботу о крайне несложном своем хозяйстве свалили на женщин. Жены и дочери их доят коров, чинят кожи, шьют одежду и обувь, приготовляют полсти, собирают аргал (скотский помет) для топлива, чинят и ставят на место кибитки, носят воду, варят пищу и заботятся о скрытии следов от уворован-

ного скота, если он убивается в хотоне, т. е. в стойбище. При такой заботливости женщин о своем хозяйстве калмыки прежде из занятия скотоводством могли извлекать чрез посредство своих жен все, что нужно было в их простом быту, даже водку[1]. Теперь же приходится изменять въевшейся в плоть и кровь привычке все возлагать на женщину и поневоле приучаться так или иначе промышлять *деньги* для поддержания своего жалкого существования. Скота нет, личное хозяйство есть у весьма и весьма немногих, женский же труд вне кибитки не находит себе применения.

К качествам калмычек как хозяек необходимо добавить, что они вообще отличаются редким у других наших инородцев целомудрием. Но есть странный обычай, когда они, так сказать легально, нарушают супружескую верность, не нарушая в то же время требований ни личной, ни общественной совести. Суть в следующем. Если мужчина, добиваясь не платонической любви от замужней женщины, ухитрится, без насилия последней, разорвать пояс ее брюк, то имеет право в тот же момент фактически воспользоваться ее ''любовью'', и тогда это не считается изменой мужу... К чести калмычек нужно сказать, что они очень ревниво и искренне отстаивают целость пояска своих брюк... Доказательством целомудрия калмычек может служить между прочим и то, что опороченной девушке из среды их почти невозможно найти себе мужа,— затем ''ублюдков'', свидетельствующих о ''помеси с русскими'', почти нет. Единичные экземпляры таковых очень резко выделяются своим уклонением от общекалмыцкого типа цветом волос и структурой лица, а это в сильной степени удерживает калмычек от соблазна половых сношений с русскими.

[1] Из сильно проквашенного молока калмыки приготовляют спиртной напиток, известный под названием *араки*. Способ приготовления араки очень прост. Сильно проквашенное молоко вливают в чугунный котел, последний прикрывают возможно плотно деревянным колпаком и все щели плотно обмазывают глиной. В верхнее небольшое отверстие деревянного колпака вставляют конец деревянной, изогнутой посредине трубы, противоположный же конец ее опускают в кувшин, поставленный в кадочку с холодной водой. Кувшин этот служит и приемником пара и холодильником его. Пар же образуется при кипении молока в котле, а дабы он не выходил из кувшина, края последнего плотно обматываются мокрой тряпицей. Полученная таким способом *арака* достигает двадцати и более градусов крепости; но можно последнюю довести и до 50° путем выливания добытой уже араки обратно в некипяченное еще молоко и нового перегона ее. На вкус арака несколько кисловата, приятна и быстро охмеляет, хотя хмель и скоро проходит. Между прочим, арака замечательна как сильное мочегонное средство.

В свою очередь и калмыки также отличаются нравственностью и, если допускают распутство, то только с русскими женщинами, до которых, к слову сказать, они большие охотники...

О девическом целомудрии и стыдливости нечего и говорить. Оно, если можно так выразиться, образцово. За все время моего пребывания в Большe-Дербетском улусе я не знал ни одного случая рождения дитяти девушкой до замужества. Сами же калмыки утверждают, и им вполне можно верить, что в их быту не бывает случаев разврата дочерей-девушек. В этом отношении наши калмыки не похожи на своих единоплеменников, одного языка и веры с ними, сибирских бурят и китайских монголов, между которыми разврат царит во всей своей неприглядной мерзости.[1] Только в привилегированном калмыцком сословии в этом случае замечается ''прогресс'', и калмыки с сердечным сокрушением рассказывают *''быль''* о нарушении супружеской верности женами их нойонов. Спешу оговориться, что упоминая об этом, я отнюдь не имею в виду кого-либо из ныне живущих членов привилегированного сословия.

Женятся калмыки в очень раннем возрасте при первой же возможности к тому в материальном и физиологическом отношении. В первом случае возможность вступления в брак обусловливается имением необходимых средств у жениха и его родителей *для покупки жены;* стоит же она не дешево — от ста и более рублей. Расходы требуются главным образом на покупку водки при сватовстве, одежды и подарков для невесты; вступают же в фактический брак — мужчины с шестнадцати лет, а девушки с четырнадцати. Свадьба совершается только после того, как жених уплатит родне невесты все, что следует по обычаю и договору, и когда достаточно средств на покупку водки и овец для брачного пира. При совершении браков духовенство участвует только в богатых калмыцких семьях; у бедняков же брак есть чисто гражданский акт, основанный на словесном договоре между родителями брачующихся, по обычному праву всегда сопровождающийся гомерическим пьянством, в котором и заключается вся суть формального брачного обряда.

Несмотря на легкость — со стороны формальных требований — вступления в брак, разводы случаются чрезвычайно редко как исключительное, а не заурядное явление семейной жизни; и поводом к разводу служит только неспособность к деторождению и физическое отвращение к женщине. В таких случаях, что опять-

[1] См. мой очерк ''Женщина у монголо-бурят''. Приложение к газете ''Сибирь'' за 1885 год.

таки очень редко бывает, калмык обязывается возвратить родственникам жены своей полученное от них за нею приданое, и затем обе стороны считаются свободными от брачных уз. Положим, обычным правом и религией, как уже упоминалось, калмыкам дозволяется и многоженство, но оно не в обычае народа, и им как роскошью, да и то в единичных случаях, пользуются только богатые люди, когда по причине бесплодности жены не отпускают ее от себя и берут другую. В таких случаях муж, любя свою жену, прощает ей ее неплодность и с ее же согласия и совета женится на другой. Первая жена затем остается *старшей в семье* и покровительственно относится ко второй, причем последняя подчиняется первой. Необходимо отметить, что калмыки, несмотря на то, что за вдов не требуется уплаты калыма, в редких случаях вступают с ними в брак, да и то по преимуществу бедняки из-за денежных расчетов. Поэтому положение вдовы, в особенности молодой, нельзя назвать завидным.

Относительно наследства обычное право охраняет интересы только мужчин и то по прямой линии. Имущество же бездетных полностью поступает в пользу буддийских *хурулов* (монастырей). Любопытная сторона имущественных прав каждого члена семьи выражается, между прочим, в том, что все имущество данной семьи при жизни главы ее делится на столько частей, сколько есть в ней мужчин — как родных сыновей, так равно и приемышей, без различия возраста и степеней родства; жена же и дочери не имеют части в дележе имущества и имеют права собственности только на то, что им *подарено* главой семьи или же ее имущественно правоспособными членами, т. е. сыновьями. После же смерти того или другого члена семьи собственно принадлежащее ему имущество, если он бездетен, не поступает в раздел между оставшимися в живых родственниками, а отдается в монастырь на помин души умершего. Монастыри же полученное таким путем имущество продают с аукционного торга.

К детям калмыки относятся с особенною любовью и заботливостию, особенно к сыновьям как к будущим продолжателям своего рода.

Говоря о браках между калмыками, я забыл отметить довольно интересный факт, а именно — жизненность древнего обычая умыкания невест. Положим, современному нам калмыку умыкать невесту в буквальном понятии этого слова не приходится. Но тем не менее, если берется невеста с согласия ее родителей, то все-таки жениху в конце концов приходится *силой* увозить ее из родительской кибитки. Все родственники невесты и соседи, собравшись толпой, к тому же нередко и пьяной, плетьми и *унинами* (длинные палки, поддерживающие крышу кибитки), что

есть мочи и по чем попало, бьют жениха и его поезжан, стараясь не допустить их до невесты и не дать свободно увести ее. Происходит настоящий бой до сворачивания скул и ломания ребер включительно. Если перевес силы не на стороне жениха, то ему нет возможности взять невесту. При брачном пьянстве происходит стрельба; молодые же родственники жениха до самого окончания брачного пира, в виде сторожевой охраны, ездят верхом вокруг кибитки, как бы наблюдая за тем, нет ли погони за невестой или же попыток хитростью увезти ее от жениха.

В случае смерти калмыка в похоронах участвует и духовенство. Умершего не зарывают в землю, а, завернув в старый войлок и обвязав веревкой, бросают труп обыкновенно в старую, заброшенную копань (колодец), а то и просто в первую попавшуюся сколько-нибудь глубокую яму; зимою же и просто в сугроб снега — не всегда вдали от своих стойбищ. Только трупы *Бакшей* (старших духовных лиц) сжигаются по индийскому обычаю.

Похоронив своих мертвецов таким простым способом, калмыки решительно не заботятся об участи трупа и не обращают внимания на то, что собаки, отыскав труп, таскают части его по степи.

Обычай так хоронить мертвецов, несомненно, вреден и особенно пагубен во время господства эпидемий. Мне не один раз приходилось видеть, как весной, во время половодья р. Джалги, по ней плыли трупы калмыков, умерших от оспы и тифа, что мне известно было от самих же калмыков. Нечего и говорить о том, что ''тела'' эти — не только отравляли воду, но и, заражая воздух, разносили отраву по кочевьям калмыков. Факты эти общеизвестны, и можно с удивлением поставить вопрос — почему до сих пор никто из начальствующих не вздумал озаботиться устройством калмыцких кладбищ?

Относительно долговечности калмыков можно сказать, что они нередко доживают до глубокой старости, иногда даже до 90 лет, но чаще всего умирают между сорока и шестьдесятью годами, причем женщины долговечнее мужчин. Что же касается детей, то их мрет масса, особенно до десятилетнего возраста. Вообще же заболеваний в улусе всегда множество. Господствующими болезнями нужно признать глазные (причина — постоянный дым в кибитке) и последствия худосочия, из эпидемических же — оспу и брюшной тиф.

Одним из интересных обычаев при болезни служит ''*загон души в тело больного*''. С этой целью собственно для больного ставится где-либо вдали от стойбищ отдельная кибитка и кто-либо

из родственников или же гэлюн[1] (священник), стоя вне кибитки, машет флагом по направлению предполагаемого ухода души больного, выкрикивает слова призыва и тем как бы приглашает блудливую душу вновь возвратиться в брошенное ею тело.

При повальных заболеваниях оспой и брюшным тифом, в особенности оспой, заразительность которой калмыки отлично понимают, все здоровое население данной местности бросает больных на произвол судьбы, быстро снимает свои кибитки и в паническом страхе удаляется возможно дальше от зараженного места. Ухаживать за больными никто не решается даже из тех, кто раньше болел оспой и знает, что вновь не подвергнется опасности. Последние отказываются помогать больным потому, что их как прокаженных в течение сорока дней после оставления оспенной кибитки никто и ни за что не решается впустить в свое жилище и вообще войти с ним в какое-либо сношение. Тяжесть такого положения убивает чувство человеколюбия у калмыков даже и по отношению к самым близким и любимым своим родным. Вследствие такого отношения калмыков к заболевающим оспой своим собратам, равно и к лицам, ухаживающим за больными, необходимость заставляет нанимать *русских* для присмотра за больными, пораженными оспой, если на то есть средства. Русские же, зная безвыходность положения ''твари'' и не считая таковую за людей, дерут с нее (т. е. с калмыков) елико возможно больше — за каких-нибудь десять-пятнадцать дней ухода за трудно больными берут корову, а не то и две.— Мне самому приходилось платить *по два рубля в день* за присмотр за страдавшими оспой. Бедняки же в большинстве случаев остаются без призора и почти поголовно мрут, если не от оспы, от которой чудом иногда выздоравливают, то от голода или же осложнений болезни.— Я знал калмычку, болевшую оспой, перенесшую ее и затем в силу отсутствия ухода *буквально съеденную червями.* Еще при жизни страдалицы черви обглодали мясо на кистях рук и ступнях ног... Знаю детей, брошенных на степи, точно ненужных щенят, и подобранных *''чужими людьми''.* Что ж тут удивительного, что заболевшие оспой калмыки почти поголовно вымирают, и эпидемия прекращается только тогда, когда в данной местности ее господства не остается уже жертв... Меры же изоляции и карантинные, если где, то именно у калмыков наиболее действительны, *но единственно потому, что сам народ, понимая их важность, соблюдает все предосторожности от заразы, даже до излишней строгости и педантичности.* Не говоря уже о полной изоляции больных от

---

[1] *Гэлюн* — искаженное от ''гелюнг''. (**Примеч. ред.**)

здоровых, даже выздоровевшие только по истечении сорока дней со времени выздоровления вновь принимаются в среду здоровых.

Страшный бич калмыцкого населения — *оспу* калмыки воплощают в злого духа *''Чичика''* и трепещут даже при одном произношении его имени; бывают случаи, и нередко, что внезапно перепуганный чичиком калмык умирает от испуга. Случается это так: кто-либо из русских *''шутки ради''* или же из мести за что-либо внезапно и насколько возможно громко крикнет на ухо своей жертве — калмыку: *''Чичик''*, и этого довольно для того, чтобы бедняга моментально рестерялся до состояния столбняка, лишился воли и сознания... Не только калмыки, но даже и сами русские рассказывают, что крестьяне соседних с калмыцкими кочевьями сел отравляют ядом натуральной оспы воду в копанях калмыков, примешивают оспенный яд к хлебу, который дают *твари* к водке, *которой приятельски и угощают.* Зверство это делается из мести за конокрадство, как то объясняют крестьяне. Но факты ''отравления'', отвратительные по своей жестокости, разумеется, не могут быть извиняемы никакими враждебными чувствами крестьян к калмыкам и никакой причиной, создавшей ненормальные отношения между теми и другими...

Считая же, что заболевание оспой происходит не от естественных причин, конкретно объясняемых, в от воли злого духа — *Чичика,* калмыки с большим недоверием относятся к оспопрививанию, полезность его, несмотря на очевидность факта, положительно отрицают и только под давлением полицейской власти позволяют фельдшеру производить прививку оспенной лимфы. Вследствие же того, что в восьмидесятых годах не *прошлого, а настоящего столетия* улусный фельдшер В. *по ошибке привил калмыкам натуральную оспу,* они особенно враждебно начали относиться к оспопрививанию и только в последнее время понемногу смирились и, скрепя сердце, подставляют свои руки под ланцет.

Что же касается собственно докторской помощи больным вообще, то об этом как-то неловко даже и упоминать.

На все кочевое население Ставропольской губернии, т. е. не только для калмыков, но и для магометан — татар, туркменов, ногайцев, эдисанцев, эдишкульцев, джембулакцев и ачикулакцев, стойбища коих разбросаны на сотни верст вдоль и поперек — *существует только один врач,— да и тот живет — не где-либо в центральном месте инородческих стойбищ а в г. Ставрополе,* аккуратно получает присвоенное ему жалованье (около полуторы тысячи в год, если не более), сопровождает главного пристава в его поездках по кочевьям — и только. Ему нет ни малейшей физической возможности быть сколько-нибудь полезным тому населению,

врачом коего он числится. Даже при господстве эпидемий, раз они одновременно появляются в разных концах обширнейших инородческих владений в Ставропольской губернии, врач совершенно бессилен оказать не только существенную, но даже и какую бы то ни было пользу населению. Мы отнюдь не преувеличим, если скажем, что обязанность ''врача при управлении кочевыми народами'' (таков официальный титул его) есть только синекура, бесполезная для населения во всех отношениях и полезная только для самого врача, главного пристава и инородческой администрации, которую он даром и лечит. Таким образом вопрос о врачебной помощи упоминаемому нами инородческому населению, вопрос весьма важный ввиду гибельных последствий почти непрекращающегося господства между инородцами оспенной эпидемии, требует немедленного решения и во всяком случае немедленного выселения из г. Ставрополя существующего уже врача в более, скажем скромно, *центральное место круга его обязанностей.*

Считаю нужным на всякий случай оговориться, что, упомянув о полезности врача для инородческой администрации, я вовсе не вхожу в интимную сторону ее отношений к врачу и не считаю себя вправе касаться вопроса, *даром или за деньги* он ее лечит.

По религиозным своим верованиям все калмыки — *буддисты.* В основу своих верований они ставят десять заповедей а) *добрых дел* (арбан саган) и б) *десять черных* (злых) дел (арбан хара).

Черные дела суть: 1) Лишение жизни живых существ, 2) грабеж, 3) прелюбодеяние, 4) ложь, 5) угрозы, 6) грубые слова, 7) празднословие, 8) зависть, 9) злоба в сердце.*

Добрые: 1) Миловать от смерти, 2) делать подаяния, 3) соблюдать нравственную чистоту, 4) говорить приветливо, 5) говорить всегда правду, 6) быть миротворцем, 7) поступать по учению священных книг, 8) быть довольным своим состоянием, 9) помогать ближнему, 10) верить в предопределение. Вообще же относительно понимания духа своей религии и привнесения требований ее в свою жизнь они стоят на низкой степени развития, крайне суеверны и учения Будды не понимают не только простолюдины, но даже и их *Гэлюны,* т. е. духовенство.

К духовному местному главе своей религии, *''Бакше''* (в переводе учитель), все калмыки относятся с глубоким уважением не только наружно, но и в душе. Наружные знаки уважения простираются даже до того, что целуют след его и пьют воду, которой он моет руки и лицо во время служения. Последнее делается с уверенностью в святости и целебности такой воды.

---

* Пункта 10-го в оригинале нет. (**Примеч. ред.**)

К гэлюнам же и гоцулам[1] (священникам и диаконам) благодаря их невоздержанной жизни, в особенности пьянству, строго запрещаемому буддизмом, народ потерял уважение и подчас иронически относится к ним. Сами же гэлюны, будучи невежественными в деле понимания религии и по умственному своему развитию равняясь с простонародьем, не могут поддерживать своего достоинства, в нравственном отношении из года в год опускаются все ниже и ниже, почему, естественно, и не имеют никакого нравственного влияния на калмыков. Безвредны они также и в деле обирания народа, в чем неосновательно упрекают их наши официозы.

Но пьянство среди калмыков есть общий порок не одних только гэлюнов. Половина населения Больше-Дербетского улуса мне известна даже по имени, и из всей этой массы пришлось встретить только одного калмыка, никогда не пившего ни водки, ни араки.— Такой замечательный в своем роде человек достоин, по-моему, чести быть названным по имени — это калмык Икичунусова рода *Башанта Люрупов.* Страстный любитель спиртных напитков, калмык пьет водку не рюмками, а чайными стаканами и чашками, при ''выпивкѣ'' не ест ничего, почему и хмелеет быстро.

Бывая в русских селах, калмык ни за что не пройдет мимо кабака, и если у него не на что купить водки и его никто не угостит, то он все-таки будет сидеть у кабака, вдыхать в себя вонь его и ''глазеть'', как пьют другие; в таком времяпрепровождении он испытывает, как это ни странно, большое удовольствие.

Водку пьют не только мужчины, но в такой же степени и женщины; пьют даже девушки и дети.

Другой крайне вредной страстью служат карты, в которые калмыки проигрывают иногда все, что у них есть.

Из сравнительно невинных страстей следует отметить сильно развитую привычку табакокурения, которому предаются положительно все калмыки от мала и до велика. Если нет табаку, то сосут чубук. Женщины курят гораздо более мужчин и в случаях недовольства на мужа первой и самой главной причиной выставляют, что он, варвар, не дает табаку.

Как на лучшую черту калмыков необходимо указать на то, что они отличаются полным бескорыстием, строгой честностью в исполнении обязательств друг к другу и сердечностью во взаимных отношениях между собой.

По характеру своему, в особенности в сношениях с русскими, калмык хитер, скрытен, недоверчив, крайне мстителен, настойчив

---

[1] *Гоцул* — правильно ''гецюль''. (Примеч. ред.)

и самолюбив, но труслив; к власть имущим раболепен до отвращения; с равными же себе русскими, да и то если последние бывают в кочевьях его — дерзок, груб и нахален; в селе же среди не своих унижает себя до подлости, заискивает, льстит и рабски покорно переносит оскорбления,— словом — крайне не искренен и плутоват в сношениях с посторонними.

Все эти и другие отрицательные стороны в характере калмыков имеют верное и правдивое объяснение в прошлом, явившись результатом отношений к ним наших крестьян и других мундирных особей, и, мне кажется, не составляют национальной их особенности. Последнее ясно из того, что те же самые калмыки в сношениях друг с другом выглядят совсем другими людьми. Между своими они откровенны, доброжелательны, щедры в высшей степени, всегда готовы оказать сородичу своему услугу, милостивы и ни за что не выдадут, без особенной, исключительной нужды к тому своего собрата, напротив всячески стараются вывести его из беды даже с прямым ущербом для личных своих интересов. Инстинкты общественной солидарности вообще у калмыков крайне развиты. Но зато все калмыки слишком апатично относятся к своему положению, ленивы, беспечны и в затруднительных материальных обстоятельствах до глупости не находчивы, что в сильной степени и мешает им выйти из нищенского, современного нам своего положения. Отсутствие инициативы, апатичное равнодушие к своей судьбе, явившееся результатом исполнения десятой заповеди ''добрых дел'', внушающей, что *''все делается исключительно по воле Божией''*, наряду с другими весьма сложными причинами, долго еще задержит возможность и силу воли у калмыков стряхнуть с себя ветхого человека, и припев известной песни

''Станем-ка, Еремушка,
Иное заводить''

калмыки не скоро еще дружно затянут...

Отмеченная нами двойственность в характере калмыков, повторяем, почти всецело есть результат прошлых отношений к ним властей и вообще русского, окрестного населения... Объяснимся.

Лишенные возможности защищаться легальными, общечеловеческими средствами от притеснений и презрения, калмыки поневоле должны были прибегнуть к хитрости, лукавству, раболепству — как единственным средствам для самозащиты, годным так или иначе усыпить или же ослабить силу враждебного и презрительного к ним отношения. Прошлое калмыка несомненно таково, что он поневоле должен был замкнуться в тесном кругу

своих сородичей, выработать неприглядные стороны своего характера как средства для борьбы и в свою очередь вкоренить в себе чувства глубокой ненависти и презрения *к не своим*, всеми силами стараться изолировать себя от постороннего влияния и пользоваться всяким удобным и безопасным случаем высказать свои истинные чувства *к этим не своим*, и высказать по возможности не на словах, а на деле, не стесняясь в выборе к тому средств.

Если вообще пение и музыка действительно служат в известной степени выразителем характера данного народа и в них сказываются исторические судьбы его, то по отношению к калмыкам это положительно верно. В их пении и музыке рельефно выливаются следы того гнета, той рабской приниженности, подавленности чувств, робости, обезличенья, до коих они доведены были дружным напором почти сплошь неблагоприятных для нормального, хотя бы относительно, развития внешних и внутренних ''воздействий'' на их быт, сознательно и бессознательно силящихся заглушить в калмыке всякое проявление самостоятельности и самоуважения.

Подробно о содержании калмыцких народных песен говорить не будем; равно не будем приводить для образца и самых песен — это значительно расширило бы рамки настоящего очерка. Ограничимся только упоминанием, что народное калмыцкое творчество, еще жившее в первое время после прихода калмыков в наши приволжские степи, давно уже угасло и бардов среди них нет, равно как нет (имеется в виду Большо-Дербетский улус) и мастерски знающих свое дело сказывателей былин не только в стихотворной, но даже и в простой сказочной форме. Все более или менее содержательные калмыцкие песни относятся к сравнительно отдаленному прошлому народа, и в позднейших из них не особенно ласковым словом поминается *''орос''* (русский). Обычно же преобладающим содержанием песен служит изображение безбрежности и раздолья степи, ''кургана'', на нем красующегося ''калмыка'' или ''девушки с красными щеками'', ''коня скакуна'' и тому подобных незатейливых предметов.

Но что за мотив песен? То слышится робкий, пугливый полутон с переливами речитатива, в несмелых полутонах же певец как бы боится, что кто-нибудь подслушает и властно прикрикнет на него ''цыц, молчи!'' — точно страх окрика удерживает решимость начать пение полной грудью или же, по крайней мере, свободным, ничем не сдерживаемым голосом, то полутоны той же песни и не постепенно, а как-то сразу, переходят в дикое, что есть силы громкое, завывание, словно певец, начав пение, завидел вдали опасность и торопится, как можно скорей, до прихода врага, излить в песне неудержимо нахлынувшие чувства, не подвергнув

их поруганию, и затем вновь замкнуться в себе самом, как улитка в раковине. Но вот враг как бы приближается, звуки песни, достигнув крайнего напряжения, могут быть услышаны, с чувством же и потребностию излить его нет возможности сразу справиться, и певец, будто в страхе, сразу же почти без переходов обрывает голос и незвучным рокотом тянет тихие ноющие тоны; тоскливо, уныло, жалобно вибрирует его голос, точно скорбя и стеня о том, что помешали неудержимо бьющему наружу чувству вылиться свободно, как того хотела душа. Затем опасность будто миновала, певец продолжает речитатив, усиливает голос и вновь сразу же переходит на самые высокие ноты. Видно, что чувство ищет простора, хочет охватить все существо певца, но он, пришибленный судьбой, не смеет предаться всецело чувству и всячески сдерживает его порывы. Словом, в пении калмыка высказывается вся его забитая, придавленная, приниженная душа. В нем слышатся и грусть, и тихий, не протестующий ропот, и быстрое, ничем на момент неудержимое проявление дикой необузданной страсти, вслед за которым ноюще звучит неуверенность в своих силах и страх ответственности за обнаруженные чувства. Так и кажется, что калмык всю жизнь оправдывал на себе справедливость поговорки: ''и недоступи бьют и переступи бьют''; идти же полной, свободной поступью ему не позволяли.

Ни беззаветной, незнающей удержу, охватывающей все существо человека веселости, ни превозмогающей препятствия удали, ни смелого протеста, ни открытой грусти и ропота на ''горе-злосчастье'', ни других более или менее определенно высказанных чувств, так ярко выливающихся в наших народных песнях и их мотивах — у калмыков нет. Полная неупорядоченность тонов, много недосказанного, все нецельное, однообразное, мало гармоничное; но все пропитано гнетущей, раздирающей душу, ноющей тоской; все уныло и жалобно до боли в сердце для постороннего слушателя.

Но еще поразительнее хоровое пение калмыков. Сравнительно верное представление о нем может иметь тот, кто когда-либо слышал завывание волчьей стаи.

Сказанное о пении — может относиться и к музыке; даже плясовая (на домборе[1] — род нашей балалайки) и та переплетена с грустными, однообразными тонами.

В танцах также нет удали. Топтание на одном месте и как бы нервное подергивание всем корпусом некрасиво и именно потому,

[1] *Домбор* — правильное написание — ''домбра''. (**Примеч. ред.**)

что в таком танце замечается много сдержанности и сосредоточенности, если можно так выразиться, в выделывании фигур плавности, непринужденности и удали совсем нет...

Невесело должно быть было прошлое калмыцкого народа, если оно смогло властно наложить такую странную печать гнета на творчество его духа!..

Таковы в общих чертах быт и характер калмыков Больше-Дербетского улуса, предварительное знакомство с которыми необходимо в целях дальнейшего выяснения социально-экономических сторон жизни этого народа.

III.

Из предыдущего мы знаем, что калмыки всю свою заботу о хозяйстве возлагают на женскую половину, сами же, кроме догляда за скотом и летом косьбы травы и хлеба, решительно ничем, за весьма редкими исключениями, не занимаются. Есть, пить, спать, пьянствовать составляет жизненный идеал калмыков. Этими ''занятиями'' досужих людей вполне исчерпывались бы проявления их энергии к деятельности, так присущей человеку, если бы у них не было особого рода *''промысла''*, для занятия которым необходимы в известной степени удаль, пренебрежение опасностями и отсутствие чувства страха. Этот особого рода промысел, обратившийся в страсть, состоит не только в конокрадстве, но и вообще в похищении и грабеже скота и овец.

На этой характерной черте быта калмыков мы остановимся и рассмотрим ее с необходимой для дела подробностию.

В былую пору своего экономического благосостояния, когда натиск пришельцев не пригибал еще калмыков к земле, они не занимались таким мелочничеством, как кража коня из-под замка конюшни, с база (базом называется загородь, устроенная из соломы, навоза или же растения ''курай'') или двора, а также и угоном какой-либо клячи ночью со степи; не занимались потому, что обеспеченные материально, имея даже избыток собственного скота, не видели в воровстве средств к поддержанию своего существования, в краже же лошаденки не было проявления удали. Если же кто в одиночку и залезал в баз либо конюшню, то на такого, как на мелкого воришку, смотрели с пренебрежением, так как занятие просто воровством, не сопряженным с опасностями и проявлением удали, предоставлялось париям.

Большинство же калмыков целыми партиями на испытанных, лихих конях днем открыто нападали на табуны лошадей, гурты скота и стада овец, выпасывающиеся в Донской Области или же

в степях, прилегающих к соседним русским селам. В случаях сопротивления со стороны табунщиков, пастухов и чабанов калмыки, совершенно пренебрегая опасностию жизни, вступали с последними в бой и угоняли в свои стойбища либо в глубь кочевий столько скота, лошадей и овец, сколько могли захватить и отбить. Если погоня не подоспевала вовремя и хищники успевали перегнать отбитое за черту своих кочевий, то успех грабежа почти всегда был гарантирован от дальнейшего преследования грабителей. Все знали, что калмыки дружно защищают *своих*, в силу чего редко кто из потерпевших решался преследовать хищников в их кочевьях, по-видимому терпеливо сносил потери и только зорко следил и выжидал время, чтобы в свою очередь воспользоваться оплошностию калмыков, напасть на их табуны и ''урвать'' что-либо из них. Если же потерпевшие врывались, надеясь на свою силу, в калмыцкие кочевья, находили похищенное и калмыки фактически убеждались, что им невозможно ни силою прогнать преследователей, ни скрыть похищенное, то в таких, между прочим, очень редких случаях хищники смирялись и входили в мирные переговоры с преследователями, возвращали отбитый скот и лошадей, причем в силу *адата* (обычного права) недостающее число из похищенного совершенно добровольно пополняли из собственных своих табунов и гуртов скота в двойном, тройном и даже большем количестве против недостающего, смотря по настойчивости преследователей, имеющих за собой превосходство физической силы. Затем в знак мира и дружбы устраивалась попойка, после которой все и расходились ''друзьями'' до новой стычки на поле грабежа.

Случалось же нередко и так, что калмыки и русские по предварительному между собой условию сходились в каком-нибудь нейтральном месте вдали от жилищ, по преимуществу на берегу р. Маныча, вели мирные, чисто дипломатические переговоры об условиях выдачи отбитого друг у друга скота и лошадей и, договорившись, либо *обменивались краденым ''голова за голову'', либо уплачивали стоимость ''голов'' по обоюдной оценке*, т. е. калмыки соглашались выдать русским ''натурою'' столько же скота, сколько крестьяне возвратят им из общего числа уворованного у них (калмыков) в известный период времени тоже скота и лошадей. Такие договоры с обеих сторон всегда исполнялись ''свято и нерушимо''. Скот и лошади аккуратно в условленном месте и количестве пригонялся для обмена, и по обычаю обмен сопровождался обильным пьянством, без которого, нужно заметить, с калмыками вообще нет возможности приступить к каким-либо переговорам и сделкам.

В русских селах, расположенных близ Больше-Дербетского

улуса, равно и среди калмыков существует масса вполне правдивых и крайне интересных рассказов о былых непрерывных стычках, происходивших между нашими крестьянами и калмыками из-за угона лошадей, скота и овец.

Последняя довольно серьезная стычка была в восьмидесятых годах настоящего столетия с крестьянами села *Кисты* Новогеоргиевского уезда, пограничного с кочевьями калмыков.

Выведенные из терпения постоянными грабежами скота и лошадей, крестьяне села Кисты в одно время решились собраться огромной толпой, вооружились ружьями, винтовками, револьверами, железными вилами и просто дубинами и пошли войной на калмыков *Икичунусова рода* (в переводе — ''род большого волка''). Неприготовленные к нападению калмыки, завидев ''ополчение'', поворотили и не смогли отразить грянувшей на них беды. Кистинцы же, несмотря на легкость доставшейся им победы, вошли в аларт, избили икичунусовцев, перевороти́ли их кибитки и угнали не только свой скот, но и весь калмыцкий, какой попадался им на пути во время победоносного их шествия обратно в с. Кисту.

Избитые и ограбленные калмыки жаловались на кистинцев, но их жалоба свелась как-то к нулю. Скот, лошади и овцы как трофеи победы так и остались в пользовании кистинцев, самое же дело безрезультатно для калмыков кануло в вечность.

С начала девяностых годов таких стычек уже не происходит; зато случаи мелкой кражи и грабежа скота повторяются беспрерывно. Не проходит и одного дня без того, чтобы калмыки не похитили то там, то здесь нескольких лошадей, быков или овец. Особенно они любят делать хищнические набеги на табуны лошадей коннозаводчиков Донской Области, а также и на стада овец арендаторов своих степей.

Нужно сказать, что во время своих хищнических набегов и воровства калмыки в видах самозащиты, хотя и вооружаются винтовками и револьверами, но редко и только в крайне безвыходном положении пользуются оружием и убивают кого-либо, главным же образом оружие при хищничестве нужно для того, чтобы выстрелами произвести переполох, перепугать и разбить отару овец, опеломить пастухов и, стреляя в разных направлениях, отвлечь их внимание от товарищей, производящих грабеж. Но, избегая случаев убийства, калмыки далеко не прочь истязать свои жертвы и безжалостно бьют их *ташмаками* (плетьми) иногда до полусмерти. Пишущему эти строки известен случай, когда калмыки, отняв у диакона, ехавшего из с. Дербетовки (Сладкие Копани) в Городачи (Дивное), лошадь, сняли с него сапоги, раздели и, глумясь над ним, гнали беднягу около пяти верст пешком, подгоняя нагайкой.

Только в последнее время начали мало-помалу *''прорываться''* случаи убийств. Почин в этом деле принадлежит отбросам из крестьянской среды, ютящимся в калмыцких кочевьях. С их легкой руки зверство прививается и к буддистам, вероучение которых, как известно, строго карает не только убийство человека, но и вообще лишение жизни даже последней, малозначущей мошки, если на то нет достаточно основательных причин к оправданию, как то: неосторожность, нечаянность и т. п. Зарезать в пищу животное и то считается грехом, который по установленному обряду отмоливается калмыками. Поглумиться же над русским и истязать его — дело другое, и дело, доставляющее калмыкам истинное наслаждение.

Помню случай, когда четыре калмыка поймали в базу русского крестьянина, старавшегося воровски угнать корову. Дело было ночью. Пойманного вора привели в кибитку и, поколотив его порядком, велели ему спать. Крестьянин лег, спать, разумеется, не мог, но, боясь дальнейших истязаний, притворился спящим.

''А! ты спишь! Как ты смеешь спать, когда мы еще сидим?''— крикнули калмыки, заслышав храп притворившегося спящим, и начали *будить* его ташмаками.

''Ну спи опять! Да засыпай поскорей!''

Вновь закрывал глаза крестьянин, вновь старался усиленно храпеть и вновь ''будили'' его ташмаками... Так всю ночь и промучили свою жертву и только утром отпустили вора.

Такие же случаи, так сказать, исключительного зверства, как убийство крестьянина с целью вынуть из него желчь для лекарства, беспримерны. И из рассказов калмыков, и из личных расспросов мне известен только один случай; виновниками его были крещеные калмыки Лука Тадаев и Михаил Кюткуров, поплатившиеся за преступление каторгой. Ввиду исключительности преступления кратко расскажем его.

В 1891 году летом в августе месяце крестьянин пришел в Князе-Михайловский поселок к калмыку Михаилу Кюткурову с целью дешево купить у него ворованную лошадь. День был праздничный, и все калмыки пьянствовали. В пьянстве принял участие и крестьянин. В разгар пьянства Кюткуров и Тадаев отозвали крестьянина в сторону, тут же, почти на глазах других калмыков, повалили свою жертву на землю, распороли живот и отрезали голову, затем оттащили тело шагов за сто от поселка и бросили в балке, голову же зарыли отдельно, но в таком потаенном месте, что она, несмотря на самые тщательные поиски, не была найдена. Вероятно, преступники в своих целях слишком уж обезобразили голову, что можно заключать из того, что полость живота была вырезана до груди и заворочена на шею... Не забудьте,

что все это происходило днем во время праздничного пиршества и не где-либо в укромном уголке безлюдной степи, а близ жилищ...

Бывают и такие случаи, что воровством калмыки мстят русским за их скупость, надувательство, побои и многие другие мелкие и крупные обиды. Так, однажды в 1891 году скупщик овец, ростовский купец Попов гнал чрез Большe-Дербетский улус около двадцати тысяч овец ''пленки'' (испанской породы); кроме условленной платы за прогон овец чрез степь, калмыки просили приказчиков Попова дать им пять баранов. Приказчики имели неосторожность поскупиться и отклонили просьбу. Тогда калмыки ночью, улучив удобный момент, ухитрились выкрасть из десяти отар (стадо овец) сорок штук баранов, отогнали их в укромную балку и в ту же ночь всех перерезали. Случилось это в конце мая месяца. Раньше этого мне не приходилось замечать, чтобы калмычки в ту пору усердно занимались сбором по степи аргала на запас для зимнего топлива, почему невольно и обратилось внимание на то, что калмычки то и дело ходят в степь с бурдюгами[1] (кожаные большие сумки); на вопрос: что они носят в бурдюгах, получился ответ:

''Аргал собираем, зимой топить будем''. Ответ был удовлетворителен и по-видимому правдив, и только много спустя пришлось узнать, что это был за аргал... Они вместо него таскали в бурдюгах мясо...

Но калмыки не только воровством мстят своим врагам; они мстят также и поджогами сена и хлеба. 1890 и 1891 годы особенно обильны были случаями и поджога, и кровавой мести между калмыками крещеными и некрещеными. В видах справедливости считаем необходимым сказать, что раздражать своих собратьев, а затем и мстить им поджогами и убийствами начали крещеные калмыки; но об этом как об очень интересном по своим мотивам факте мы скажем особо...

По требованию *адата* (обычное право), свято чтимого калмыками и до сих пор, все похищенное делается достоянием не одних только похитителей, но и всего хотона (группа кибиток, расположенных в данной местности) в равной доле дележа между участвовавшими и неучаствовавшими в грабеже. Зато в свою очередь *все* и отвечают *всем* своим имуществом в случаях необходимости возвращения похищенного его хозяевам.

Похищенное редко сохраняется. По пригоне в хотон с поразительной быстротой, дружными усилиями вмиг все режется, колется, душится и делится на части. Лихорадочно-деятельное участие

---

[1] *Бурдюги* — правильно ''бурдюки''. **(Примеч. ред.)**

в уничтожении добычи одинаково с мужчинами принимают и женщины и дети, не лишаются своих частей и собаки. Затем по окончании дележа начинается в буквальном смысле слова обжорство, в какую бы пору ночи и дня то ни случилось. Мясо варится полусырым; кости и кожа сейчас же жгутся или зарываются в каком-нибудь потайном месте вдали от хотона; излишек же мяса тщательно, с соблюдением всевозможнейших предосторожностей прячется где-либо в копани (колодец), в навозе, соломе и т. п.; иногда же, дабы доказать, что ''хотон ест свое мясо, а не краденое'', убивается чей-либо бычок, телушка, овца,— смотря по тому, что украдено и пригнано было в хотон. Если же кто утаит похищенное и не поделится им или кто-нибудь у вора украдет уворованное же, то таковому не только мстят, но даже считают себя вправе жаловаться на него своим властям. Помню однажды был такой случай, что даже ко мне (лицу, не придерживавшемуся их адата) вор пришел жаловаться на вора, до того первому показался обидным поступок последнего. Состоял же он вот в чем: занимаясь косьбой сена, калмык увидел пасущихся без призора овец крестьянина соседнего села. Пользуясь случаем, он схватил двух овец, задушил их, туши спрятал под копной сена и, предвкушая довольство сытости за ужином, спокойно продолжал косьбу сена; пред закатом солнца ушел домой, чтобы с наступлением полных сумерек вместе с братом притащить овец в кибитку. Другой калмык подглядел, как первый душил овец и где их спрятал; и только что укравший овец пошел домой, ''перекрал'' их, спрятал, ночью ''приволок'' уже в свою кибитку и, никому не сказав о том, вздумал полакомиться ''в одиночку'', а часть оставить про запас. Так бы и случилось, если бы первый вор нечаянно ''не наткнулся'' на огонек и не догадался, в чем дело. Завязалась драка, а затем, не удовлетворившись ею, в ту же ночь обиженный, жалуясь мне на *''вора''*, просил, чтобы я помог ему отобрать овец и так или иначе наказал *''обидчика''*, причем решительно не соглашался со мной, что он такой же вор, как и его обидчик, и что, если наказывать, что наказывать обоих, а не одного,— нет: он одно твердил, что ''соседям друг у дружки грех красть''.

Благодаря быстрой и притом единодушной *''управке''* калмыков с краденым, следы преступлений весьма скоро скрываются, так что преследователям сплошь и рядом приходится, выслеживая преступников чуть ли не по пятам, находить только объедки мяса, но не кожу и кости. Объедки же мяса служат плохим юридическим основанием для несомненности улик, в особенности же, когда очевиден факт, что был зарезан свой бычок, корова или овца.

В тех же случаях, когда количество угнанного скота и овец

бывает настолько значительно, что обитатели данного хотона не в состоянии пожрать его в сравнительно непродолжительное время, в особенности летом, то тогда убивается только часть добычи, излишек же без малейшего промедления с наивозможною поспешностию отгоняется в отдаленнейшие хотоны и там опять-таки либо убивается сейчас же, либо укрывается на время или же, если русский ''кунак'' (друг) близко, сбывается ему за самую ничтожную цену. Русские же кунаки особенно охочи до таких покупок.

Что же касается похищенных лошадей, то калмыки убивают их в крайне редких, так сказать, безвыходных случаях, когда окончательно измученное животное неспособно к гоньбе или же настолько породисто и хорошо, что сбыт его затруднителен и опасен. Обычно же калмыки стараются как можно скорее ''затурить'' краденых лошадей куда-либо ''на сторону'' ''подальше'' в Кубанскую и даже Терскую область, в чем им деятельно помогают не только свои сородичи-калмыки, но и русские — в лице деревенских конокрадов и притонодержателей, весьма многочисленных на Северном Кавказе и в большинстве известных калмыцкому населению. Успешному сбыту краденых лошадей много помогает и то, что в Ставропольской губернии почти нет ни одного села и хутора, даже в Кубанской области редко встречаются станицы, в которых не находились бы калмыки со своими семьями и кибитками, легально исполняющие обязанности пастухов и табунщиков; даже г. Ставрополь пользуется их услугами. Такая же разбросанность местопребываний калмыков в высшей степени способствует надежному способу сбыта краденых лошадей и даже рогатого скота, ибо хищник калмык везде находит и притон, и помощь, и быстрый обмен уворованного на деньги или же ''голова за голову''. Прежде, когда калмыцкая степь изобиловала зарослями камышей, еще можно было укрывать лошадей и скот в своих же кочевьях; теперь же от камышей не осталось и следа, и волей-неволей ворам приходится угонять добычу возможно дальше и тем скрывать следы преступлений. Это же делается быстро и легко, благодаря правильной организации дела передачи уворованного из рук в руки.

Кроме лошадей, скота и овец калмыки ничего не грабят и не воруют. Чужая одежда, вещи и вообще какое бы то ни было имущество, исключая конской сбруи, их не соблазняет; но деньги ''карашить'' (воровать) они не прочь. Так, в 1891 году калмыки забрались в дом иеромонаха Амвросия (миссионера), сломали замок у сундука и взяли из него только деньги да выпили водку, стоявшую в шкафу. Из вещей же ничего не тронули, хотя кроме носильного платья были серебряные ложки, кресты, часы и т. п.

Занятие хищничеством у калмыков освящено веками и в глазах народа служит признаком доблести, удальства, молодечества. Хищничеством, вопреки категорическому требованию одной из буддийских заповедей, по традиции должно заниматься все мужское население. Только старость, физические недостатки и полная неспособность (глупость, трусость) освобождает от участия в хищнических набегах с целью воровства лошадей и скота. Достаточно знать, что удальство на этом поприще давало право молодым людям на вступление в брак и что девушки отворачивались от неспособных к хищничеству и презирали таковых,— и нам понятно будет, насколько страсть к хищничеству присуща калмыкам. Неспособные прежде к набегам, а теперь к воровству считаются какими-то жалкими париями, и правоспособное в этом смысле мужское население относится к ним с горделивым презрением, иначе не называя таковых, как ''мукювен'', т. е. худой человек, мозгляк, дрянь.

Действительно, в былую пору, когда калмыцкая степь представляла из себя безбрежную пустошь с кое-где изредка попадавшимися одиноко стоящими хотонами, когда русские поселения не окружали Больше-Дербетского улуса и не проникали в глубь его степей, а ютились одиноко, далеко отстоя друг от друга; когда степь в местах кочевий по ней переполнена была скотом разных пород и калмыки не знали, что такое нищета,— в то время хищничество действительно было проявлением удальства; быть может, что и безделье гнало их на грабеж. Других мотивов к хищничеству, как говорят и сами калмыки, вспоминая свое прошлое, почти не было. Во всяком случае одно верно, что *удальство,* проявляясь в хищничестве и будучи в крови калмыков, отнюдь не было, так сказать, ремеслом, как то есть у наших конокрадов-крестьян, и не вызывалось нуждой добычи себе средств к жизни путем воровства и грабежа. Затем с течением времени по мере того, как русские поселения сплошной массой, точно кольцом, все более и более суживающимся, начали надвигаться на калмыцкую степь и проникать в отдаленнейшие уголки ее, вынуждая тем самым калмыков скучиваться все в более узком круге, когда, наконец, пришлое население не только окружило степь, но и забралось в центр калмыцких кочевий и испещрило их своими хуторами, хищничество как удальство под сильным напором иных жизненных условий начало изменять мало-помалу свой первоначальный характер, мельчать, обусловливаться другими причинами и, наконец, постепенно обратилось в настоящее время в простое обыденное воровство. В свою очередь и сами калмыки в силу тех же причин из прежних гордых удальцов, смелых в опасностях, самовластных сынов степей, также превратились в приниженных, нищих, жалких, трусливых воришек, рабски покорных своей судьбе и апатично влачащих нищенское свое существование. Но было бы большой ошибкой со стороны того, кто подумал бы, что хищничество сузилось и снизошло на степень мелкого воровства, воровства единицами, а не правильно организованными шайками в силу культурного воздействия русского населения на калмыков или же в силу разумной и энергичной деятельности лиц, власть имевших и имущих. Того и другого отнюдь не бывало. Дело совсем иначе объясняется и далеко не в пользу ни русских поселений, ни распорядителей судьбы и быта калмыков. Это мы и постараемся объяснить.

При малочисленности русского населения, примыкавшего к калмыцким кочевьям, попадам, свободным в своей богатой степи, легко было делать хищнические набеги, угонять скот и лошадей в глубь степи. Там же по обширности пространства и безлюдности это не только трудно, но зачастую и просто невозможно было разыскивать похищенное. Вместе с этим для потерпевших очень и даже очень небезопасно было пускаться в погоню за хищниками, сильными и знакомыми со степью, и поддержкой со стороны своих сородичей, всегда готовых помочь *своим* и физической силой на случай борьбы, и укрывательством, если к тому была необходимость. Когда же с течением времени преобладающим населением калмыцкой степи явились русские крестьяне, дело приняло совсем другой оборот. Пришельцы, освоившись с ее тайнами не хуже своих калмыков и изучив нравы, обычаи и характер последних, к тому же поддерживая друг друга в случаях грабежа скота и лошадей, начали сами смело вооруженной толпой врываться в кочевья, настойчиво разыскивать похищенное, преследовать грабителей, в случаях сопротивления и запирательства вынуждать путем настоящих пыток указание, где скрыт похищенный скот и самовольно жестоко расправляться с калмыками, не разбирая кто из них прав, кто виноват. Не только свежи трагические рассказы о пытках, каким подвергали крестьяне калмыков, как-то: поджаривании на медленном огне, выворачивании назад рук, травле собаками и проч., но у многих даже раны и теперь не совсем еще успели зажить после жестоких расправ за воровство. Кровавыми следами запечатлены в памяти калмыков недавние погромы на них жителей сел: Городачей, Митрофановки, Кисты, Красной Поляны и многих других. Не только мучить, но даже и убить калмыка, как о том уже упоминалось, русские и теперь не считают ни грехом, ни преступлением. Есть и теперь еще живые свидетели таких, например, зверств, когда чабаны, т. е. пастухи овечьих отар, убив калмыка, *тело его жарили на углях аргала и жареным калмыцким мясом кормили своих собак-овчарок. Жари-*

ли же для того, чтобы ''собакам непротивно было есть вонючее мясо поганой твари''... Понятно и даже очень понятно, что при таких условиях стало и негде, и крайне опасно развернуться былой калмыцкой удали в деле хищничества. И они постепенно, не в силу культурного воздействия, а под давлением жестокостей крестьян заменили удалые хищнические набеги простым ночным воровством, как менее заметным и менее поддающимся розыскам и преследованию, воровством всего того, что плохо запирается в сараях, базах, конюшнях и не стережется на пастбищах.

Не говоря уже о далеком прошлом, даже недавно, в восьмидесятых годах (в начале) крестьянину, раз он не кунак, иначе не заведомый вор, невозможно было в одиночку без оружия решаться заходить в калмыцкие степи. Такой смельчак почти всегда лишался лошади и редко избавлялся от истязаний. Пахать землю, косить траву, убирать хлеб русские всегда ездили партиями и с ружьями. Теперь же роли совершенно переменились. Сила стала на стороне крестьян, и они свободно разгуливают по калмыцкой степи, мало этого — сделались хозяевами ее в смысле эксплуатации ее земельных богатств, калмыки же, наоборот, боятся в одиночку въезжать в русские села не только ночью, но даже и днем, а в некоторые деревни, как например в Кисту, Киевку, Красную Поляну и др., и совсем не решаются показываться. Избить калмыка так себе, ''за здорово живешь'', поглумиться над ним, затравить его собаками — служит развлечением для молодых деревенских парней. Вообще калмык, перейдя черту своих стойбищ, трепещет перед крестьянином и рабски ему подчиняется. И если бы захотели крестьяне или, вернее, если бы они сами были нравственнее, то воровство, коему преданы калмыки, сузилось бы до неизбежного во всякой человеческой среде минимума. Но дело в том, что сами крестьяне, как увидим, развращают калмыков и ''подбивают'' их на воровство, на которое они и без того так падки.

Что же касается бывшей администрации улуса, т. е. попечителей, их помощников, пристава, то они не только в первое время своего существования, но и в позднейшее оказывались решительно бессильными искоренить зло. Положим, на бумаге они искореняют его и искореняют ''энергично'' и с ''успехом'', так что в общем, по их *''доношениям''*, не только ''все обстоит благополучно'', но даже ''народ видимо нравственно развивается и понимает благодетельность опеки и забот о нем''. На деле же далеко не так, о чем ясно между многим другим говорит и то, что не далее, как в восьмидесятых годах нашего столетия, правительство нашлось вынужденным издать особый закон для крестьян Новогеоргиевского уезда Ставропольской губернии, почти окруженного калмыцким и магометанским населением, равно и для последнего, по

которому администрации предоставлено право высылать в Сибирь на поселение всякого крестьянина и калмыка, замеченного *в порочном поведении,* не ожидая на то общественных приговоров. Мы, кажется, не ошибемся, если предположим, что особый, *чисто местный* этот закон явился результатом признания *местной* администрацией полной своей несостоятельности бороться со злом общеузаконенными средствами, обычными и в других местах нашего отечества...

Закон этот издан, как сказано, в восьмидесятых годах, т. е. в то время, когда Ставропольская губерния считалась уже вполне благоустроенной в административно-полицейском и судебном отношениях. А если так, то что же было, не говорим уже о начале столетия, а даже в сороковых и шестидесятых годах, когда территориальная часть Ставропольской губернии — именно калмыцкая степь — испытывала на себе всю прелесть пререканий между местным и астраханским начальством из-за права владеть и управлять калмыками, когда калмыки имели достаточно средств откупаться от всяческих преследований за свои дела, нарушающие закон, и когда существовала возможность широкого простора для всевозможного рода и вида сделок с ними и с пришельцами на их землю?..

В настоящее время калмыки давно уже в большинстве случаев являются не самостоятельными ворами, а приспешниками родных нам конокрадов. Все более или менее крупные кражи и грабежи совершаются или при непосредственном участии крестьян, или по указанию и при пособничестве их, а то и просто посылаются калмыки на кражу, для успеха в которой крестьяне дают им своих хороших лошадей и одежду. Но, к сожалению, благодаря незнакомству с действительным положением дела и нежеланию вникнуть в суть его, среди общества и в сферах высшей администрации укоренилось предвзятое убеждение, что все без исключения калмыки остались такими же хищниками, грабителями и ворами, какими были и ранее. Не совсем справедливое убеждение в этом повлекло за собой применение к калмыцкому населению закона, по которому оно наравне вообще с кавказским не русским населением за грабежи и разбои должно судиться военно-полевым судом; иначе говоря, калмыки поставлены таким законом в исключительно строгие условия кары. Для знакомых же с сутью дела такой закон по отношению к калмыкам кажется не совсем справедливым,— не потому, что он суров, а потому, что он всею своею тяжестию обрушивается на одно инородческое население Кавказа, а между ним и на калмыков, тогда как в громадном большинстве случаев виновниками грабежей и разбоев являются не одни калмыки, а с ними и во главе их и русские. Если же

последние и остаются пред судом и следствием в тени, то происходит это *вовсе не в силу их невинности, а в силу особенной национальной черты в характере калмыков.* Объяснимся.

Ни в одном из наших обществ, если не считать некоторых сектантов, не развито в такой степени чувство братского единства, единодушия, взаимопомощи,— короче сказать полной во всем солидарности одного со всеми и всех с одним, как то есть среди калмыков, что резко и отличает их, да и не их одних, от крестьян-соседей. Не поддержать друг друга, не оказать кому-либо из своих в нужде помощи, выдать преследуемого властям, при допросах русскими чиновниками уличить в преступлении — считается величайшим позором. Мы знаем случаи, и далеко не единичные, когда совершенно невинные калмыки, почему-либо заподозренные в совершении известного преступления, шли на каторгу, ни единым словом не обмолвившись в замозащиту ни на следствии, ни во время суда о том, что они знают действительных виновников преступления, за которое их постигает кара, и могут фактически, а не облыжно, увертки ради, доказать виновность других и свою правоту. Бывали случаи, что в окружном суде на скамье подсудимых фигурировали ни в чем неповинные калмыки, действительные же виновники по необходимости являлись свидетелями против них; и роли при полной к тому возможности со стороны обвиняемых не менялись даже под страхом каторги... Мы не говорим уже о том, что нет такого калмыка, который решился бы отказать в принятии участия в том, чтобы всеми зависящими от него мерами и средствами восстановить alibi своего собрата, попавшегося в руки властей. К этому калмыки приучаются с детства и достигают виртуозности. В противном случае изменника традиции постигает жестокая кара. Вот между прочим недавний случай: крещеный калмык Даниил Бугдюков, ослепленный ревностью к своей жене, решился разоблачить некоторые преступления своих врагов. Калмыки догадались об этом и ночью, устроив нарочитую попойку, убили его, связали арканом (волосяная веревка) руки, как собаку выволокли в степь саженей за двести от своих жилищ и бросили на краю проезжей дороги. За такую же попытку быть доносчиком другого калмыка, Григория Нормынова, ночью поймали в степи, живому еще прикрутили голову к ногам и бросили в р. Джалгу, где он и утонул.

Чтобы видеть, насколько сильна среди калмыков солидарность друг с другом и насколько свято исполняют они требование обычая не выдавать друг друга, расскажем один из многих фактов, слышанных нами из непосредственного источника.

Предварительно необходимо заметить, что крещеные калмыки пользуются не только ненавистью, но и полным презрением со

стороны своих сородичей — буддистов. Следовательно, можно и даже должно предполагать, что у них всякая связь друг с другом порвана и возникшая упорная ненависть и презрение освободили обе стороны от исполнения заветов братского единства. На деле же не всегда так.

Насколько помнится, кажется, в 1889 году шайкой калмыков в числе пяти душ совершен был грабеж с оружием в руках скота и лошадей у крестьянина села Сладких Копаней (Дербетовка тожь). Подозрение почему-то пало на крещеных калмыков, и один из потерпевших при очной ставке признал грабителей в лицо. Основываясь на уликах потерпевшего, подозреваемых в грабеже арестовали и посадили в тюрьму. Потянулось следствие, спросы, допросы и перепросы, во время которых подозреваемые сидели под замком с ноября по июль месяц и им по характеру их преступления грозила каторга. Между тем в существе дела потерпевший крестьянин совершенно облыжно показал на крещеных калмыков. Эти же последние хорошо знали действительных виновников преступления, имели все данные для доказательства, кто и как и совершил грабеж, куда девалось ограбленное, и, несмотря на это, упорно скрывали истину и на следствии, и на суде.

Такие заветы куначества в одинаковой степени крепки у калмыков не только по отношению к своим сородичам, но даже и к русским крестьянам, раз последние руководят ими в делах воровства и грабежей и деятельно в том помогают. В *куначестве* же нужно видеть и главную причину того, что обвинения в воровстве в большинстве случаев всею своею позорной тяжестью обрушиваются на калмыков, главные же деятели его, крестьяне, остаются в стороне и очень редко привлекаются к ответственности совместно с калмыками. Крестьянин посособствует калмыку, выдаст ему краденое, калмык погонит украденное в степь, останутся следы; по ним преследующие доходят до хотона, ''подводят'' след до кибитки,— значит *калмык виноват и попался...* '''Тащи его''... Логика простая, но далеко не справедливая по своим выводам... Калмык же, верный завету куначества, молчит о правде, врет небылицы и терпеливо сносит на себе и побои, доходящие до пытки, и позор общественного мнения, и позор тюрьмы, закрепляя тем за собой славу классического вора, неисправимого ничем грабителя; теперь же в силу закона пойдет быть может и на виселицу за преступления других. Жаль! И жаль потому, что корень зла многие упорно силятся видеть там, где его нет, почему и допускают очень несправедливые натяжки и освещают дело с предвзятой точки зрения, силясь сблизить и сопоставить факты согласно своему предубеждению. Вместо же того, чтобы *потру-*

диться исследовать и изучить действительные причины крайне развитого в степной части Ставропольской губернии воровства и тем иметь возможность так или иначе парализовать этот порок и воздействовать на самые, так сказать, источники его, вместо этого, благодаря нежеланию отрешиться от предвзятых убеждений, сваливается все на калмыков и убежденно, со спокойной совестью, как о несомненно доказанной истине, твердится на разные лады, что ''ни одно воровство не обходится без калмыков; а потому рассовать этих вредных парнивцев по тюрьмам (сгноить их там... Бить их, вешать... согнать их с земли...), смешать с крестьянами... не выпускать никуда из улуса (пусть с голоду мрут... оспу на них напустить)''...

Кричать-то, положим, легко, не стыдно и даже в некотором отношении не без личной выгоды: ибо такой крик не только может служить, но и служит весьма удобной и благовидной лазейкой для улусной администрации на случай обвинения ее ''в бездействии власти''.

''Стараемся, мол, но ничего не можем поделать с такими закоренелыми преступниками, как калмыки. *Суд их оправдывает... Сечь и бить нельзя...* Сделать из улуса тюрьму невозможно... Что поделаешь? *Всем же известно, что все калмыки воры!''*... Такими докторальными рассуждениями многие улусные официозы успокаивали своих презусов,— и убеждены, и убеждали в справедливости этих, выражаясь по-калмыцки, ''кислых слов''. Но справедливо ли это? Не слишком ли ''кисло''? По-видимому, с полицейской точки зрения и справедливо, и не кисло. Но *по справедливости* и по существу дела — совсем не то и не так.

Чтобы с большей достоверностью и доказательностью судить о влиянии улусной администрации на дело ''предупреждения и пресечения'' воровства среди страстно обвиняемых ею в том калмыков, нужно, между прочим, знать и то, что потерпевшие от воровства и грабежей, ''чинимых'' калмыками, не говорим уже о прошлом, даже в самое последнее время, редко, только в безнадежных случаях, как бы для ''очистки совести'' обращаются за помощью к администрации, да и то предварительно истощив все возможные и невозможные *''вольные''* средства к возврату похищенного. Зная обычаи калмыков, потерпевшие всегда обращаются прежде всего к ним. Если есть серьезные улики и калмыки действительно виноваты, то хозяева пропавшего скота, как уже упоминалось о том, получают его обратно и даже с лихвой или же берут деньги, когда скот уже зарезан. *По адату* же вина и обязанность расплаты, повторяем, падает не только на совершивших преступление, но и на всех однохотонцев. Таким путем не бывает задержки и проволочек в выплачивании потерпевшим всех

их проторей и убытков. Самое же дело о преступлении оканчивается миром и никогда не доводится до сведения властей.

В тех же случаях, когда калмыки в силу ли своей невиновности или же в силу бедности не могут удовлетворить требований крестьян,— последние поневоле и всегда неохотно обращаются к администрации. Но в таких случаях редко достигается желаемая цель. Администрация почти никогда не входит в рассмотрение дела по существу и не может разыскать ни похищенного, ни похитителей. Обыкновенно все дознания начинаются так:

''А! Ты вор! Знаю тебя, давно знаю, чертова кукла, про твои делишки... Говори! признавайся!'' И... трах-трах в зубы!

Затем, как водится, следует *''волосяная выволочка''*, кутузка, казачьи калачи и плети и... ''пошла писать''!

''Нет! Да каковы же мерзавцы! Какая закоренелость в запирательствах! Ничем его не доймешь!''

Так и тому подобными восклицаниями успокаивает себя улусный полицейский чин, если при его ''операциях'' случится постороннее лицо.

Сплошь и рядом бывало, что улусные власти путем мордобитий и разных ''выволочек'' вынуждали калмыков сознаваться в несовершенных ими преступлениях — иначе говоря заставляли *''клепать на себя''*. Говорим это отнюдь не голословно, а на основании многих и многих фактов. Попавшие же ''в переделку полиции'' калмыки взводят на себя небылицы, понятно, для того, чтобы избавиться от физических истязаний и нравственных пыток. Затем при судебном *предварительном следствии* и на суде, где уже нет *''пристрастия действием''*, показывают другое и также почти всегда врут. Правду же ''показывают'' только относительно того, что сознание полицейскому чиновнику сделано было по принуждению, что фактически иногда и доказывают еще не зажившими следами на лице чиновничьих ласк. Затем, понятно, все перепутывается донельзя, и начинается волокитная канитель, т. е. ''суд по форме по совокупности преступлений''.

''Были зубы — били в зубы!..
Нет зубов — скула трещит!''

И нам не известно случая, чтобы, не говоря о прошлом, а даже за последние пять-шесть лет, кто-либо так или иначе поплатился за калмыцкие зубы и скулы.

А при таком способе раскрытия преступлений естественно спросить, где же и в чем толк?..

Итак — еще раз повторяем, что если бы не соседи калмыков — крестьяне и если бы было другое отношение к ним администра-

ции, то воровство среди населения Больше-Дербетского улуса далеко не было бы господствующим, неустранимым явлением, как теперь. Впоследствии мы укажем, что обнищавшему калмыку даже выехать не на чем — не только для воровства, но и за более законной и необходимой потребностию. Пеший же калмык, что рак на мели.

Необходимо также для уяснения дела взять во внимание и ту резкую особенность в быту калмыков, что случаи воровства собственно между ними, друг у друга, крайне редки, мелочны, единичны сравнительно с воровством в селах, в любом данном месте чисто русского населения.

А это явление, по нашему мнению, очень важно и ценно при суждениях о будто бы неискоренимой наклонности калмыков к воровству и о мерах к атрофированию этой наклонности...

Затем, на всякий случай, считаем необходимым оговориться, что мы не дифирамбы поем калмыкам, а только констатируем, что наблюдалось, в чем сложилось убеждение, как в несомненном факте и что проверялось при слушании рассказов других и личным присутствием при очень и очень многих ''операциях'' над калмыками,— производимых и главным приставом, и его сподручниками. Существующая же в Больше-Дербетском улусе военно-полицейская команда из казаков Кубанского войска решительно ни в каком отношении не приносит пользы в деле ''предупреждения и пресечения'' преступлений. Напротив — мы не скажем ничего лишнего, если отметим, что во многих случаях казаки даже способствуют скрытию следов преступления; на свою службу в улусе смотрят как на возможность наживы; лет же десять тому назад сами казаки открыто грабили калмыков и не по-человечески жестоко обращались с ними. Если же так, то и понятно что ''военно-полицейская команда'' не служила, да и не может служить авторитетом для калмыков, сдерживающим началом и охраной населения от хищничества и воровства калмыков. Напротив — между казаками и калмыками существует одно лишь озлобление и в результате его страстное желание напакостить друг другу.

До сих пор мы говорили только о *калмыках простолюдинах.* Но между ними есть еще и *привилегированное,* законом нашим признанное *сословие,* которое состоит из *зайсангов, владельческих родственников и нойона.* Сословие это, исключая нойона и двух-трех зайсангов, по складу своей жизни и умственному уровню своего развития решительно ничем не отличается от простолюдинов. Оно также плутовато, воровато, неразвито, бедно и забито, как и все калмыки, и живет одною с ними жизнию (из всего привилегированного сословия единственно счастливое исключение составляет только зайсанг *Бадьма Лапинович Опогинов* и его племянник *Тер-Менке.* Помимо того, что они образцово ведут свое обширное хозяйство и прекрасно устроили свою усадьбу,— Опогиновы отличаются серьезностию своего развития и строгой честностию в ведении своих дел. Они могли бы благотворно влиять и на калмыков, если бы их без всякого достаточного на то основания *не оттирали от народа.* Если кому в улусе и следует предоставить власть с целью желательного воздействия на калмыков, то единственно Бадьме Опогинову. Сказанное сейчас понятно будет, когда мы припомним ту неустранимую пока враждебность, с какой калмыки относятся вообще к соседнему населению и особенно к чиновничеству, в силу чего ни один из чиновников при всех его благих пожеланиях народу не сможет и не сумеет сделать то, что доступно г. Опогинову.

Что это за привилегированное сословие, в каких отношениях оно стояло и стоит к народу, друг к другу, к русской администрации и обратно, с этим мы сейчас и познакомимся.

IV.

Известно, что калмыки, как и их сородичи, китайские монголы и наши сибирские буряты, в гражданском своем развитии остановились на стадии родового быта. Определенное число родов, подчиненных одному общему их владельцу, в Монголии называется *''хащунами''*, в Сибири *''ведомствами''*, а в Ставропольской и Астраханской губерниях — *''улусами''*.

Больше-Дербетский улус состоит из пятнадцати отдельных родов — именно: 1) *Икитуктунов* — с 504 душ мужеского пола и 19120 дес. земли; 2) *Бага Бурулов* — 546 душ и 16408 дес. земли; 3) *Кюбетов* и 4) *Бюдурмисов* род — не разделенные между собой — 698 душ и 22355 дес. земли; 5) *Абганеров* — 237 д. и 8195 дес. земли; 6) *Цорасов,* 7) *Ширетов* и 8) *Торочинеров* — не разделенные между собой — 489 д. и 16137 дес. земли; 9) *Икитуктунов второй* — 370 душ и 12435 дес. земли; 10) *Абганер Раханкин*[1] — 360 душ и 9809 дес. земли; 11) *Икичунусов* и 12) *Будульчинеров*[2] — 1542 душ и 61458 дес. земли; 13) *Хаджинкинов* — 177 душ и 7500 дес. земли; 14) *Багатуктунов первый* — 642 душ и 35037 дес. земли и 15) *Багатуктунов второй* — 86 душ и 9800 десятин земли.

---

[1] *Абганер Раханкин* — имеется в виду Абганер Гаханкин в Яшалтинском районе. (**Примеч. ред.**)

[2] Земельные дачи Икичунусова и Будульчинерова рода разделены в 1891 году.

Каждый род в отдельности, а не разделенные земельными участками — вместе, составляли и составляют отдельную самостоятельную административную единицу, во главе которой до издания закона 15 марта 1892 года стоял родовой *зайсанг*[1]; власть его переходила без выбора по наследству от отца к сыну и только в тех родах, где вовсе не было зайсангов (вследствие их вымирания), существовали выборные старшины. Там же, где были зайсанги малолетними, родом управляли выборные *опекуны*.

До 1892 года все роды, входящие в состав Больше-Дербетского улуса, находились в полной экономической зависимости от *нойона* — владельца улуса, в административном же отношении от коллегиального учреждения, так называемого *''улусного управления''*, в состав которого входили: нойон и от правительства гражданские полицейские чиновники — попечитель улуса и его помощник. Председателем управления был нойон, устраненный от участия в делах улусного управления, как и вообще от улусных дел, только законом 15 марта 1892 года, по которому власть его всецело перешла к попечителю улуса и двум его помощникам. Попечитель улуса по своим правам уравнен с окружными исправниками, а помощники его с приставами.

Нойон — владелец улуса, до ''освобождения калмыков простолюдинов от обязательного отношения к их привилегированному сословию''[2] был полновластным хозяином калмыцкого населения. Калмыки простолюдины считались его крепостными рабами на оброчных правах и обязывались платить ему законом установленную норму подати — именно *по семи рублей четырнадцати копеек в год*, но не с каждой отдельной души мужеского пола, а с кибитки (дыма) или, иначе говоря, с каждого отдельного хозяйства и жилища. Такой оброк назывался *албаном*, что в дословном переводе с калмыцкого значит *дань, подать*. Закон запрещал нойонам только продавать, дарить и закладывать калмыков[3]. Кроме того, ограждалась и имущественная собственность простолюдинов только тем, что все денежные взыскания по обязательствам нойонов должны были производиться с них самих и ни в каком случае не могли обращаться на подвластный им народ[4]. Во всем же остальном нойон являлся владыкой калмыков, огражденным законом от посягательства на его права и привилегии и подрыва их со стороны калмыков. Улусному же управлению

[1] Статья 100-я Положения об управлении калмыцким народом.
[2] Выражение манифеста 15 марта 1892 г.
[3] Положение об управлении калмыцким народом, 25 ст.
[4] Там же, 30 ст.

вменялось в обязанность строго следить, чтобы албан в пользу нойона *''яко казенный''* собирался бы *''бездоимочно''*.

Разделяясь на отдельные, совершенно независимые друг от друга роды — калмыки до 1871 года, т. е. до окончания разверстки между ними земельных участков под оседлые поселения,— пользовались степью *сообща*. Тот или другой род порознь не имел исключительного права владеть известным урочищем для своих кочевок, мало этого, не имел даже юридического права по своему желанию кочевать там, где ему казалось удобно и любо, ибо распределение мест и угодий для кочевок и назначение их по родам всецело зависело от нойона[1]. Последний мог совершенно на законном основании распоряжаться распределением и экономической судьбой калмыцких стойбищ, передвигать их с места на место, не справляясь, удобно ли это для калмыков или же убыточно в смысле плохого корма для скота, отсутствия воды в данной местности и проч., мог выбирать и отбирать лучшие места для пастбищ в свою пользу и в пользу своих родственников и приближенных. В этом отношении власть нойона не была ограничена от произвола, и к ограничению ее не делалось никаких активных попыток. Были только полумеры с разными недомолвками, коими вообще полна прошлая история наших официальных отношений к калмыцкому народу и его правам,— интересы народа и его права всегда отодвигались на задний план. Само правительство с первых же годов прихода калмыков в приволжские степи, не желая считаться с ними силой,— исподволь, с упорной настойчивостию силилось и принимало все зависящие от него меры к рабскому подчинению простолюдинов — сначала *ханам*, а затем по уничтожении ханов — *нойонам и зайсангам*, стремясь усилить значение, власть и права их. На рабском подчинении народа привилегированному сословию основана была система ослабления в калмыцком народе порывов к свободе, самоуправлению и протесту против вмешательства в их дела наших властей. Путем такой системы рассчитывалось, и не без основания, играя человеческими страстями и слабостями, сконцентрировать эти последние в лице нойонов и зайсангов и потворством привлечь таковых на свою сторону как своих креатур — а чрез них и смирить народ.— Естественно, что ласкаемые и заинтригованные перспективой власти, зиждущейся не на народном произволе, почему и шаткой, а на силе штыка и сабли — нойоны и зайсанги постарались оправдать возложенные на них надежды и вместе с этим соблюсти выгоды своего положения, покоящиеся на порабо-

[1] Там же, ст. 245.

щении отданного под их власть народа. Такой ''политикой'' без особенных материальных издержек покупались народные власти, личные выгоды которых и должны были служить гарантией обезвреживания калмыков, ибо эти выгоды, как безошибочно было рассчитано, побуждали привилегированное сословие стремиться к угнетению народа, дабы тем лишить его возможности свободно заявлять о своих правах и желаниях, идущих вразрез с требованиями нашей высшей администрации.

Мы говорим о начале наших отношений к пришедшим к нам калмыкам. Но и в ту отдаленную пору (1630 г.) наши администраторы знали, что *права так называемого калмыцкого привилегированного сословия,* которого *искали* в калмыцком народе и которое стремились создать и упрочить законом,— основывались не на юридическом прошлом калмыцкого народа и не на его бытовых особенностях, а просто с известными целями навязывались и прививались народу вопреки гражданскому его строю, созданному историческим прошлым. Права господ над рабами в существе дела не было потому самому, что не было и самого привилегированного сословия среди калмыков в том смысле, как мы его понимали и понимаем. Известно, что при устройстве родового быта еще не вырабатывается у народа понятие об аристократичности и верховности прав той или другой фамилии до порабощения ей своих же сородичей и одноплеменников включительно. Родоначальник считался главой рода, как отец в семье,— остальные же члены рода находились в положении равноправных родственников и его, главы рода, и между собой.— В этом заключается вся несложная иерархическая лестница родового быта. Что все в известном роде считаются между собой родственниками, о том ясно, между прочим, свидетельствует тот факт, что у сибирских бурят,— такого же народа по своей религии, бытовым чертам и гражданскому устройству, как и калмыки,— родовичу нельзя жениться на девушке и вдове одного с ним рода, потому что последние — его *родственницы,* а следовательно, в противном случае нарушалось бы понятие о кровосмешении. Не нужно забывать и того, что у калмыков и до сих пор нет еще прочно установившихся родовых фамилий, переходящих без изменения из рода в род. Обыкновенно же *имя отца,* как главы семьи, *обращается в фамилию сына, дочери и жены;* потомство *сына* носит уже фамилию не деда, а прозывается по имени отца и т. д. Короче говоря, имена отцов переходят в фамилии сыновей. Если же у калмыков и были родовичи с *привилегированным положением,* то они отнюдь не составляли отдельного сословия с обособленными своими правами, дающими им преимущество пред остальным народом; привилегированностью положения пользовались вообще старики, не

запятнанные пороками, мудрые житейским опытом и являющиеся хранителями родовых традиций и обычного права. Даже принадлежность к старшей, прямой линии в общей семье рода не давала членам ее власти, если сам народ не вручал им таковой путем добровольного общественного выбора на известную должность. Только право главенства над родом неизменно, без выбора народа сохранялось за прямыми потомками родоначальника по старшей линии.

Таким образом, едва ли мы ошибемся, утверждая, что *привилегированное калмыцкое сословие* с правами господ над рабами есть продукт нашего собственного искусственного, но не искусного создания среди калмыцкого народа, чуждого самобытных, юридически-определенных понятий о привилегированности положения отдельных лиц, как мы то понимаем, да еще с особенными правами в ущерб интересам остальных родовичей. Очевидно, что творцам этого вредного для калмыков сословия не было никакого дела до того, что закрепощение народа нойонами и зайсангами решительно не согласовалось с установившимся уже и временем, и традициями, и обычным правом понятием калмыков о сословных между собою отношениях, правах и привилегиях. Не предвидели они и того, что впоследствии придется считаться с этим сословием, умерять его аппетит к расхищению народных богатств, как то случилось в 1871 году во время общей разверстки между калмыками земельных дач,— мало этого, в конце концов *заплатить им более миллиона*[1] *рублей за ''освобождение калмыков от обязательных к ним отношений'' и заплатить из запасных же средств народа!*

Взгляд устроителей калмыцкого народного быта на значение нойонов и зайсангов быстро понят был и усвоен последними, как дело весьма выгодное для них в материальном отношении и удовлетворяющее стремлению к власти. Зайсанги и нойоны воспользовались своим положением как нельзя лучше и успели окончательно закабалить совершенно вольный в прошлом и свободный калмыцкий народ, вышедший из Монголии в приволжские степи именно потому, что не хотел подчиниться режиму, суживающему его свободу, и не вынес посягательств на свои права и вольность...

Монголия не знала и не знает крепостного права и сопряженных с ним последствий — продажи, мены, дарения людей как какого-нибудь скота. Если же на прежней родине калмыков рабства ни в каком виде не существовало, то, следовательно,

[1] Имеется в виду выкуп и астраханских калмыков.

выходцы из Монголии — калмыки,— заняв наши приволжские степи, не имели понятия о крепостной зависимости от своих родоначальников и военачальников. Пришли они к нам и вступили в обладание приволжскими степями как победители живших на ней мелких, разрозненных племен (эдисанцы, эдишкульцы и др.), входили даже в договоры с нашими князьями и крымскими ханами, долгое время управлялись своими законами, без всякого вмешательства в их дела представителей московского правительства — и только в 1724 году, т. е. спустя почти сто лет со времени прихода калмыков правительство наше решилось, наконец, обратить свое активное внимание на беспокойное для соседей самодержавие *ханов* и начало несмело и нерешительно заботиться о том, чтобы ханы выбирались народом не без ведома нашей верховной власти. О несмелости и нерешительности нашей даже в таком, сравнительно скромном, требовании, как не безведомый выбор правителей, ясно свидетельствует инструкция астраханскому губернатору, данная в 1724 году, в которой, между прочим, рекомендуется *''осторожно стараться, чтобы владельцы улусов не выбирали из среды своей ханов, а просили бы о том Его Императорское Величество''*.

Помимо общего интереса вышеприведенной выдержки из наказа, для наших целей важно подчеркнуть в нем то, что в то время, к какому относится он — ''владельцев улуса'', в смысле господ над рабами, не было, ибо рабы не выбирают себе господ, а были только военачальники, стоявшие во главе известного числа родов и имевшие в своих руках право высшей гражданской власти над народом. По свидетельству калмыцких летописей, каждый род представлял из себя отдельный полк со своим отдельным знаменем и особенным воинским кличем, который и до сих пор еще сохранился в калмыцких родах. Иначе говоря, весь вообще калмыцкий народ по своему внутреннему устройству представлял из себя тесно сплоченную военную общину, как то было, между прочим, и в нашей Малороссии. В такой же общине, разумеется, не могло быть и речи о рабстве между членами родов. Как относились калмыки к иноплеменникам и обращали ли их в рабство — это вопрос другой, и мы не будем его касаться.

Так о своем прошлом и до сих пор говорит калмыцкий народ, таковым оно, наверное, и было в действительности. Имея же это в виду, с уверенностью можно сказать, что если бы не наши администраторы конца семнадцатого, всего восемнадцатого и далее века, то калмыки сами по себе едва ли додумались бы до создания в среде своей рабства, контингент которого состоял бы из своих же родовичей,— как не додумались до того и их сородичи-монголы и сибирские буряты, оставшиеся чуждыми понятий о

крепостной зависимости *хара ясу* (черной кости), т. е. всего народа, от *саган*[1] *ясу* (белой кости), т. е. родоначальников. К тому же и гуманнейшее из философских учений, буддизм, составляющий религию калмыков, решительно не допускал возможности отдавать людей в рабство одних другим.

А если так, то вновь ставим вопрос: что заставило наших администраторов создать привилегированное сословие среди калмыков и наделить его такими правами, привилегиями и властью, какой сам народ никогда не давал ему, и какая нужда была юридическим понятиям народа о правовых и сословных отношениях между собой? Затем — что заставило, создав это сословие, привить и прочно насадить крепостное право среди калмыков и отдать их в рабство нойонам и зайсангам? Быть может, к этому побудили господствовавшие в то время тенденциозные взгляды вообще на сословные отношения? Нам кажется, что едва ли так, и вот почему.

Живущие на самой далекой нашей окраине, именно в Восточной Сибири и далее, подвластные нам инородцы и между ними в особенности *буряты* никогда, по крайней мере легально, не закрепощались ни за своими правителями (тайшами, шуленгами, зайсангами), ни за кем-либо другим. Напротив, правительство всегда и всеми зависящими от него мерами усиленно боролось против попыток инородческой и русской денежной и чиновной аристократии насадить крепостное рабство среди свободных сибирских инородцев. Попытки водворить в Сибири рабство, и попытки по свидетельству исследователей народной жизни сибиряков Ядринцева, Шапкова, Вагина и других весьма настойчивые существовали, и много было охотников, несмотря на строгость преследования (по закону и не всегда de facto), закрепощать за собой бурят и других инородцев, даже была торговля ими как рабами: но все-таки, благодаря отчасти народному протесту, отчасти усилиям правительства поддержать народный протест против рабства, крепостничество не смогло пустить глубоких корней в быт сибирских инородцев и не привилось к ним. De jure аборигены Сибири всегда оставались свободными, полноправными гражданами. Если же представители высшей власти, несмотря на свои симпатии к крепостническим тенденциям, во имя закона все-таки защищали сибирских инородцев от крепостной кабалы и от попыток привнесть ее к жизни кочевников, то ясно, что не господствовавшие в ту эпоху понятия о крепостном праве лежали в основе стремлений обратить калмыцкий народ в подневольных

[1] *Саган ясу* — правильно ''цаган ясн'' **(Примеч. ред.)**

рабов и закабалить их целым рядом распоряжений зайсангам и нойонам. Последнее противоречило бы руководящему началу правительственных отношений к правам и привилегиям бурят и других инородцев Сибири. Не в этом заключается искомая нами причина еще и потому, что администрации известно было, что калмыки — те же буряты, с таким же гражданским строем жизни и с такими же понятиями о сословных между собой отношениях. Разница же в географическом положении места жительства тех и других, разумеется, играла самую незначительную роль в деле неодинаковости взглядов на устройство быта калмыков и бурят. Тем не менее в дальнейшем воздействии на быт и правовые особенности калмыцкого народа правители решились допустить радикальную разницу между калмыками и их кровными единоплеменниками — бурятами, оставив последних свободными от рабства и закрепостив первых их нойонами и зайсангами и тем причинив, как показали последствия, массу вреда делу культурного развития калмыков и экономическому их благосостоянию. Вредная же по своим последствиям эта ошибка юридически устранена была только в 1892 году, т. е. когда все дела по освобождению народа от крепостной зависимости в других местах давно уже сданы были в архив и о них остались одни лишь тяжелые воспоминания. Не лишне заметить, что по отношению к калмыкам запоздавшее освобождение их от крепостной зависимости оставило в их жизни более глубокий след, чем в среде наших крестьян, ибо народ доведен бывшими властелинами его до последней степени извращения и нищеты и обречен на вымирание, сам же оправиться не сможет. Полумеры по отношению к улучшению его быта оказываются вредными паллиативами. Быт калмыков требует радикального оздоровления, иначе разложится и исчезнет; но, исчезая, заразит миазмами и окрестную жизнь.

Для уяснения причин или, вернее, поводов к закрепощению калмыков нойонами и зайсангами, равно и к усилению власти и значения последних, необходимо вспомнить, хотя в общих чертах, минувшие, и притом давно уже, отношения кочевников приволжских степей (калмыков) к их соседям.

Чтобы не повторяться, мы только вкратце напомним ранее сказанное нами[1]: Будучи своевольным, свободным народом, к тому же сильным своим единством, калмыки с первых же шагов вступления в пределы приволжских степей начали делать постоянные набеги — не только на соседние инородческие племена, но даже и на русские поселения, не миновали и городов, грабили,

[1] См. 2 главу настоящего очерка.

жгли и уводили в плен жителей,— почему и были грозой для всех. Власти (наши) оказывались бессильными усмирять хищных кочевников и так или иначе преследовать их. Занимаясь же хищничеством, калмыки после смерти хана Хо-Урлюка уже не проявляли в более или менее решительной форме своих завоевательных наклонностей и ограничивались только хищничеством. Но вместе с этим калмыки являлись и небесполезным народом, ибо в известной степени служили оплотом для России от набегов киргизской орды и, отчасти, обитателей Кавказского плоскогорья и равнин — именно кумыков и др. Этой, так сказать, даровой постовой службой калмыков при слабости наших пограничных сил отчасти и объясняется снисходительность отношения к своеволию калмыцкого народа. Это же своеволие порой (конец семнадцатого и начало восемнадцатого столетия) переходило границы терпения, но, повторяем, бессилие наше мешало водворить желательный гражданский порядок в быту калмыцкой орды и держать ее "в субординации". Даже и в начале настоящего столетия мы все еще продолжали смотреть на "орду" как на нечто грозное по своей силе и требующее *политичного* с ним обращения, почему и потворствовали притязаниям *"привилегированного ее сословия"*, надеясь, что оно будет служить сдерживающим началом, и в этом отношении доходили до крайнего предела уступчивости. Так, между прочим, повелением императора Павла Первого, состоявшимся 14 октября 1800 г., калмыкам предоставлялось: 1) зависеть непосредственно от самого государя; 2) самостоятельно выбирать себе правителя; 3) переписываться непосредственно с самим государем... и многие другие весьма важные права и привилегии, коих не имели другие инородческие племена, находившиеся в зависимости от нашей короны[1], и, пользуясь которыми, нойоны и зайсанги беспрепятственно, смело и настойчиво усиливали свою власть и значение.

Не имея возможности силою смирить калмыков, ввести в их жизнь гражданский порядок и защитить соседнее с ними население от грабежей, насилий и вообще от разбоя, администрация, дабы обезоружить орду, смирить ее дикое своеволие и приручить, приняла за руководящее начало *особого рода мирную систему*, в основу которой и было положено постепенное порабощение народа путем создания такого гражданского строя и таких сословных отношений, ставши в которые калмыки должны были или поглотить друг друга в междоусобной борьбе за свои традиции,

[1] См. Полное Собрание Законов. Т. XXIV. 1800 г.

свободу и обычное право, или же рабски подчиниться поддерживаемым ими единицам из своей же среды, надеть их ярмо и тем навеки предать забвению свою вольность, права и переустроить свой быт.

Самой лучшей мерой воздействия на массу было признано закрепощение ''калмыков простолюдинов'' и затем неуклонное поддерживание силой прав привилегированного сословия на крепостное владение отданными в рабство. Средства же, и самые верные, к исполнению такого плана воздействий на орду были под рукой — именно подмеченная у нойонов и зайсангов страсть к власти и угнетению народа и поползновения пользоваться его богатствами. Потворством этой страсти и разными поблажками и были *куплены* нойоны и зайсанги за счет свободы и прав их народа. Придерживаясь такой системы усмирения калмыков, нужно было только усиливать власть и значение среди калмыков нойонов и зайсангов, сделать их привилегированным в нашем смысле сословием с правами на крепостные владения,— народ же низвести на степень рабов. Система эта оказалась вполне пригодной. Как рассчитывали, так и случилось. Калмыки не самоуничтожились, а постепенно обратились в жалких рабов и в этом состоянии дошли, наконец, до полного извращения, саморазложились и сделались отребьем человечества, безусловно послушным воле своих нойонов и зайсангов. Эти же последние, построив свое социально-экономическое благополучное положение на рабстве народа, сумели и смогли быстро выделиться из его среды, но зато, в свою очередь, сделались послушным орудием в руках других. Власть, сила и обеспечение в сохранении ее явились настолько хорошей приманкой, что нойоны пренебрегли интересами своего народа и со своей стороны употребили все, что только было в их распоряжении для закрепощения народа, закрепощения, столь выгодного для их интересов.

С целью привлечения народных властей на свою сторону издавались указы, предоставлявшие всяческие льготы ''привилегированному сословию'' калмыков в прямой ущерб последним, причем дарование льгот облекалось в форму наград ''за усердие и преданность'', и делались намеки на еще большее, если ''награждаемые'' источник своего благополучия будут видеть в дающих и отличающих их верность, усердие и преданность. Наряду с этим простолюдины систематически последовательно обезличивались и шаг за шагом теряли свои права, отданный же в рабство народ никем не защищался от притеснений нойонов и зайсангов, и только как бы для успокоения совести вменялось в обязанность

астраханской администрации *''осторожно присматривать, дабы они, т. е. нойоны и зайсанги, не слишком разоряли своих рабов''*[1].

Но и этим дело не ограничилось. Закабаление калмыков одними только нойонами и зайсангами оказалось недостаточным. Это видно из того, что высшим распоряжением, изданным 16 ноября 1737 года, перевернувшим в калмыцком народном быту все вверх дном и отдавшим калмыков на полный произвол разнузданного своеволия силы и власти, дозволено было всем русским сословиям, имевшим на то право, *покупать калмыков, крестить их и держать даже без платы за них подушной подати.*

Естественно, что таким распоряжением, окончательно обесправившим народ, в сильной степени поощрялось стремление приобретать калмыков как ничего не стоящих рабов, ибо они как крепостные несомненно выгоднее были крестьян из русских, за которых, помимо расходов по купле, нужно было вносить еще подати в казну и давать рекрутов, калмыки же являлись вполне даровыми рабами. Крещение их было только благовидным предлогом, за которым и скрывалась настоящая цель, именно, чтобы калмыки как отдельная ''нация'' перестали существовать. Иначе нельзя объяснить целый ряд мер, предоставлявших право обращать калмыков в рабство не только нойонам и зайсангам, но и каждому насильно захватившему калмыка удерживать его у себя в качестве неотъемлемого раба, с тем лишь совершенно ничего не значащим ограничением произвола, чтобы захваченный непременно был окрещен, иначе говоря, совершенно отторгнут от своего народа.

А так как при таком самовольном захвате и порабощении калмыков неизбежно должны были случаться беспрерывные побеги, то в ограждение, не народа, а захватывающих его поработителей повелено было калмыков, которые приходят и просятся на волю без письменного вида от помещиков, за самовольство наказывать батогами и отдавать тем же помещикам, от которых они ушли; ибо по указу 1737 г. калмыкам повелено было считаться неотъемлемыми рабами тех, *кто объявил, что они принадлежат ему, почему они и стали яко их крепостные*[2]. Вот как просто было закабалять калмыков! Стоило только *заявить*, что такой-то — мой крепостной, хотя бы, в существе дела, он не был таковым,— и дело с концом; если такой раб протестовал, то его били батогами и отдавали тому, кто его арканом притащил из его родной кибитки и оторвал от семьи, опираясь не на право, а исключительно на произвол и ловкость в деле захвата добычи.

---

[1] См. Пол. Собр. Зак. Т. XII.

[2] Пол. С. З. Т. X-й. 1737 г. и Т. XII-й. 1744 г.

Упомянутые мной два указа дали повод к громаднейшим злоупотреблениям. Торговля калмыками начала открыто производиться на рынках ближайших к калмыцкой степи городов и селений; люди продавались иногда за самую ничтожную цену. Калмыцкие зайсанги и нойоны воровали и отбирали друг у друга целые семьи для продажи. Процедура закрепощения была самая несложная. Духовенство обыкновенно представляло ''промеморию'', что такие-то и такие-то калмыки окрещены, а губернская или воеводская канцелярия выдавала отпись, что они поступают в холопы к такому-то — и конец делу. В случае же жалобы недовольных били батогами.

Крестили, разумеется, насильно, чем и обратили религию в слепое орудие разыгравшихся страстей в погоне за обращением калмыков в рабство. Легко представить себе те вопиющие злоупотребления, какие безнаказанно царили в калмыцких степях благодаря созданию привилегированного сословия и закрепощению простолюдинов. Жадными к легкой наживе и творцами беззаконий оказались в одинаковой степени и духовенство, торговавшее религией, и гражданские власти, продававшие закон и право. Что же тут удивительного, что у калмыцкого народа глубоко залегло, выражаясь сдержанно, нерасположение к нам, в особенности же к чиновничеству, нерасположение, от которого они не отрешились и теперь, почему пугливо и относятся ко всякому нововведению, рефлексивно вспоминая прошлое... Отсюда же понятна и причина, почему реформаторы калмыцкого народного быта должны быть крайне осторожны в деле практического применения своих ''проэктных положений'', если только реорганизаторы желают добра сбитым с толку калмыкам, желают поднять их экономическое положение и упорядочить их быт.

По словам бывшего главным попечителем калмыцкого народа г. Костенкова, правами закрепощения калмыков легально и нелегально пользовались все, имевшие к тому хотя малейшую охоту и возможность, особенно же лица, стоявшие во главе управления Астраханской губернией. Так, астраханский губернатор Ник. Аф. Бекетов, населял свои имения калмыками, рыбопромышленники закрепощали их за недолов рыбы и другие долги... Мало этого — легкость закрепощения калмыков и дешевизна их, как известно, создала даже моду иметь калмыка или калмычку в каждом богатом и небогатом нашем помещичьем доме... Словом, купля, продажа, захват и в результате закрепощение калмыков производились в обширных размерах и так открыто — нагло, что правительство вынуждено было наконец обратить внимание на возмутительнейшие безобразия в отношениях к калмыцкому народу и принять меры, если не к уничтожению злоупотреблений, что было не по

силам, то, по крайней мере, к ограничению их. В этом направлении сделано было: 1) указом 1808 года отменялись все ранее существовавшие законоположения о закрепощении калмыков навеки, взамен же назначались сроки обязательного служения калмыков тем лицам, кои ранее приобрели их или путем мены, захвата, или же путем дара и покупки, 2) указом 1819 года ограничены права собственников на купленных ими калмыков двадцатипятилетним возрастом последних; калмыки моложе этих лет должны были получить свободу, и 3) в 1825 году последовало совершенное запрещение продажи, захвата и дара калмыков[1]. Во всем же остальном калмыки оставались в полной кабале у своих нойонов и зайсангов.

Итак, из прошлого на основании одних только официальных документов ясно видно, что, потворствуя русским помещикам, купцам, духовенству, администрации и другим лицам в деле приобретения калмыков без разбора способов на то, правительство, точно умышленно, закрывало глаза на все то, что нойоны и зайсанги,— да и не одни они,— проделывали с народом, отданным под их власть и опеку. Этим, между прочим, вполне объясняется тот исторический, весьма важный в жизни калмыков факт, который отмечен в нашей истории *возмущением калмыков и бегством их в Монголию в 1771 году*. Лучший из калмыцких владык — *Убуши* — вошел в интересы народа и под своим предводительством успел вывести из приволжских степей большую часть калмыков в места прежней их родины, где они мирно живут и до сих пор, оставшись, как то нам известно, и нравственнее и обеспеченнее — словом лучше во всех отношениях наших калмыков. Но 1771 год, благодаря уходу *Убуши*, был роковым для оставшихся калмыков. Власти наши, поняв, что оставшаяся часть орды по своей малочисленности уже не способна активно защищать свои традиционные права, личную свободу и юридические обычаи, окончательно бросили политику заигрывания и поблажек путем потворства разнузданным страстям народных вожаков и начали систематически вводить крепостное право среди оставшихся кочевников. Целым рядом распоряжений они закрепощались за нойонами, и эти последние, как того не было ранее, начали именоваться *''князьями* — владельцами улуса'', причем до 1825 года подтверждаемо было, что нойоны как владельцы могут и имеют право продавать и дарить калмыков. Был даже такой курьез, что буддист нойон подарил православному архиерею целый калмыцкий род.

---

[1] Полн. Собр. Зак.

Таким образом, из всего ранее сказанного ясно, что титул *''владелец улуса''*, а тем более *''князь''* не есть обозначение или выражение исторически сложившейся на чисто народной почве власти и прав *нойона* на подвластный ему народ. Напротив — титул этот, воплощая в себе чуждые понятиям народа ''права'' и власть, присвоен нойонам русским правительством, и носящим его, вопреки народным взглядам на сословные отношения, присвоились права помещиков над своими крестьянами и кроме того самовластный суд над ними. Со своей стороны сами *нойоны* уже произвольно расширили понятие о важности своего титула и соединенных с ним правах и пристегнули к нему широкое значение и права *''владельческих князей''*, что исподволь и старались внушить подвластному им народу и окружающим, в чем и успели. Владельческими князьями начали именовать нойонов не только калмыки, но и русские, не только простонародье, но и чиновный люд, и не в прошлом, а даже и по настоящее время. Письмоводитель Улусного Управления при мне раз сделал надпись на конверте, адресованном одной из калмыцких нойонш: *''Ея Высочеству''*. Бывший же владелец улуса и теперь позволяет именовать себя: *''князь, ваше сиятельство''*, тогда как по точному в ''Положении 1847 г. об управлении калмыцким народом'' обозначению прав по происхождению — *нойон только ''приноровлен'' к дворянам, зайсанги же к потомственным почетным гражданам.*

Все (о чем мы говорили в этой главе) вместе взятое, естественно, должно было привнести громадное, трудно теперь поправимое зло в жизнь калмыков и дальнейшее устройство ее. Правительство как бы с особенною заботливостью давало нойонам — владельцам улусов и зайсангам — владельцам родов все, что только они могли желать. Оно не только закрепостило за ними калмыцкий народ, но и отдало в их руки почти бесконтрольное право суда и расправы над ним,— и притом исключительное право, в силу которого калмыки не смели обращаться со своими тяжебными делами[1] к русским властям; законом строго воспрещалось администрации принимать жалобы от калмыков и самолично входить в разбирательство их. Последнее допускалось лишь в тех случаях, когда калмык имел дело с русскими или обратно. А это много значило. Народ не только калмыцкий, но и русский воочию убеждался, что нойон есть лицо обособленное, в руках которого сосредоточена серьезная и могучая власть и сила, что он есть вершитель судеб своего народа, что он не только судит его и распоряжается им по

[1] Полн. Св. Зак. Т. X.

своему произволу, но и собирает с него дань,— не в пользу казны, а в свою собственную; что ему нет нужды справляться с существующими общегосударственными законами, что он вполне независим от народа и потомственен в своих правах. Зная все это, калмыцкий народ, всецело подчиненный нойону, трепетал его и рабскую подчиненность свою простирал до того, что падал ниц при встрече с ним. Нойон мог убить калмыка, засечь его, истязать как угодно, отобрать имущество, вдвое и более против нормы собрать албан — и жаловаться на него никто не смел, если не желал себе и семье своей окончательной погибели. Достаточно было нойону обратить свое благосклонное внимание на что-нибудь — и будь то самая заветная какая-нибудь вещь или же что-либо дорого стоящее — оно сейчас же делалось собственностью нойона; в последнем не смели отказать ему даже русские, имеющие какое-либо дело с калмыками. В то время, когда к распоряжениям администрации все относились кое-как, слова нойона и все его распоряжения и приказания были в глазах народа законом.

Значение нойонов среди калмыков и власть их были громадны и являлись гораздо действительнее власти и силы бывших наших помещиков над своими крепостными; и это потому, что в руках нойонов сосредоточивалась не только экономическая зависимость народа, но и право суда над ним. О былом значении нойонов можно судить еще и по тому, между прочим, что даже и в настоящее время, после издания закона 15 марта 1892 года, нойоны не потеряли своего обаяния в народе и значения среди него. Калмыки пока еще не одумались, не пришли в себя и продолжают быть рабами нойона и некоторых зайсангов и нередко добровольно идут к ним на суд.

Судились калмыки, как уже говорилось, у своих нойонов и зайсангов и судились безапелляционно. Суд этот и ведется под именем *Зарго*, и в прежнюю пору, пока его не оформливали, он был чисто народным, гласным и открытым. Затем, благодаря нам, суд зарго сосредоточен был в руках нойона и зайсангов, и только изданным в 1847 году положением об управлении калмыцким народом в состав суда зарго введен был в качестве члена попечитель улуса и его помощник, что впрочем долго оставалось одной только формальностью, во-первых потому, что разбирательство дел в суде зарго происходило всегда на калмыцком языке, которого не знали русские чиновники, переводчики же и толмачи по воле нойонов перевирали показания сторон, если то нужно было нойонам; во-вторых, сами попечители улуса и их помощники, хотя de jure считались самостоятельными полицейскими чиновниками и не были подчинены нойонам, но de facto находились в полной зависимости от них, боялись их, а следовательно и не решались

перечить им; напротив, позорно потворствовали нойонам и заискивали их милостей, дабы не лишиться в противном случае своих мест, к слову сказать, весьма и весьма доходных. А в-третьих, и самое главное то, что калмыки, находясь в ежовых рукавицах зайсангов и нойонов, почти всегда ограничивались их личным судом и боялись переносить свои дела *в Зарго;* к попечителям же улусов и вовсе не обращались с жалобами.

Думается, что после всего сказанного излишне распространяться об отношениях нойонов к калмыкам. Скажем только, что неразвитые, грубые, самолюбивые, заносчивые нойоны, — а таковыми они были почти все,— только угнетали калмыков, выжимали из них соки, разоряли, прокучивали громадные суммы и вновь для той же цели собирали их с народа. Обладая же большими прерогативами власти, пользуясь безусловным влиянием на народ, имея в своем распоряжении громадные материальные средства, они решительно никакой стороной своей деятельности не входили в интересы калмыков, не обращали внимания на улучшение их экономического положения и не удерживали, а наталкивали на грабежи и разбои, ибо и из этого извлекали свои выгоды — словом, кроме существенного вреда во всех отношениях, они ничего не привнесли в быт народа и ничем добрым не заплатили за те богатства, кои обильно черпали не только из его достатков, но даже и из нищеты. Не было той жестокости, какой нойоны не практиковали бы над калмыками; не было того произвола, какого не проявляли бы они в своих отношениях к ним. Один нойон не знал покоя до тех пор, пока не замучивал кого-либо до смерти... и так изо дня в день; другой без всякого на то права подарил архиерею около сотни калмыцких семейств, причем не позаботился указать калмыкам место для поселений и закрепить за ними таковое, благодаря чему потомки этих бедняг и теперь еще скитаются по Терской области, не имея прав ни на одну пядь земли. Еще в восьмидесятых годах можно было видеть картины дикого произвола нойонов. Так, один из них, допытываясь, кто из калмыков ограбил его приятеля русского, заподозренных посадил на ворота и поставил караульщиков для наблюдения за тем, чтобы пытаемые не слезли с ворот. Слишком свежи еще случаи, когда нойоны засекали до полусмерти... да мало ли что было! Слишком тяжелая и грустная вышла бы картина всех тех жестокостей и несправедливостей нойонов, кои они позволяли себе в своих отношениях к калмыцкому народу, их дикого, подчас чисто зверского, не знавшего удержу произвола над ним. И забитый, придавленный народ терпеливо все сносил. Жаловаться было некуда и некому, ибо все инородческое управление было тесно сплочено общностью интересов, строило все свое благосостояние

на инородческих ''недоразумениях'' и не в его целях и задачах было выносить сор из избы.

Понятно, что при таких самовластных и самовольных отношениях нойонов к калмыкам народ неизбежно должен был дойти до современного нам своего состояния, т. е. до поглощения рабом человека, и как раб, он хитрый, лукавый, исподличавшийся народ. Качества эти были и остаются пока единственными более или менее действительными орудиями калмыков для борьбы со всякого рода притеснениями, гнетом и несправедливостями, и как таковые эти качества и должны были развиться среди народа до отвратительных размеров и явиться преобладающими в его наклонностях.

Не менее вредно и несомненно гибельно отразилась власть и права нойонов и на экономическом быте калмыков, особенно с 1871 года, т. е. после окончания разверстки земли между всеми родами Большие-Дербетского улуса. Почему это случилось именно с 1871 года, мы объясним, когда будем говорить о способах пользования калмыками землей. Здесь же ограничимся только замечанием, что совершенно неосновательно обвиняют большедербетцев в прирожденной неспособности к труду, к оседлой жизни, земледельческой культуре, в лени и в действительно существующем неумении выйти из своего нищенского состояния. Во всем этом, в особенности же в обнищании, всецело следует винить нойонов — *они — и только они* при помощи инородческого управления довели калмыков до справедливых укоров в нищете, деморализации, неспособности к инициативе... Только нойоны со своими чиновными приспешниками виновны в том, что калмыцкий народ, по природе очень способный к развитию, сильный, энергичный,— недоросли, захирел, страдает маразмом и обречен на вымирание; заживо же его преследуют везде позор и презрение и даже самое название его — ''*калмык*'' — обратилось среди русского населения в нечто ругательное; обозвать кого-либо ''*калмыком*'' равносильно оскорбительному обвинению в лукавстве, хитрости и бесчестии...

Кроме нойонов, бичом для калмыков служили еще и зайсанги.

Мы уже знаем, что значение зайсангов и власть их простирались только на один род, к которому они принадлежали по своему рождению; во главе этого рода они стояли как правители им и в этой роли всегда были верными, точными исполнителями воли нойонов и шли с ними рука об руку как вспомогательная сила по пути угнетения народа и обирания его.

Будучи *в роде* своем полновластными хозяевами, совмещая в лице своем низшую судебную инстанцию и административно-исполнительную власть, зайсанги, каждый в кругу своей деятель-

ности, являлись для своих сородичей теми же нойонами в миниатюре, чем и увеличивали тяготу родовичей. Не будем говорить об отдаленном прошлом, оно слишком мрачно: да и вообще,— зачем заглядывать в него, когда в 1890 году мне пришлось быть свидетелем, как один из зайсангов, ныне умерший Гаврило Малзаев, будучи пьяным, нагайкой разогнал калмыков, собравшихся близ хурула (церкви) для молитвы и религиозного торжества. Что же касается истязаний, безнаказанного обирания бедных и богатых включительно до отнимания последней овцы у бедняка, то на безобразнейшие в этом направлении факты можно было наталкиваться на каждом шагу. Умерший в 1892 году зайсанг Гаврило Малзаев в полном смысле слова разорил свой Икичунусов род, владеющий более чем шестьюдесятью тысячами десятин земли. Он вовлек родовичей в неоплатные долги и довел их до полной нищеты, несмотря на то, что икичунусцы ежегодно получали около десяти тысяч рублей за аренду своей земли.

Малзаев был одиноким, и все деньги народа ушли на пьянство, разврат и карты... Короче говоря, не было того безобразия, которого зайсанги, глядя на своих патронов-нойонов, не проделывали бы над рабски покорным им народом. Только в последнее время один из зайсангов вместе со своим племянником, благодаря личным своим качествам и уму, действительно желал добра народу, силился обоседлить своих родовичей, развить у них охоту к труду и земледелию, для чего и ''купил для общества'' плуги, быков и все, что нужно для пахаря. Мы говорим о Бадьме Лапиновиче Опогинове. Но по пословице один в поле не воин, и ему трудно было бороться с общим индифферентизмом к делу забот о поднятии экономического благосостояния нищенствующих калмыков.

Кроме Опогинова и Тер-Менке, остальные зайсанги отличались полным невежеством и только разоряли народ. Чрез всю историю отношений зайсангов к своему народу резкой чертой проходит крайнее своеволие, презрение народных прав и нравственный и экономический гнет со всеми его последствиями.

Зайсанги так же, как и нойоны, имели право собирать с калмыков в свою пользу албан, кажется, по сорока семи копеек в год с кибитки, но эти *копейки* были каплей в море сравнительно с тем, что самовольно и открыто бралось и собиралось с народа. И тем не менее калмыки, доведенные своими зайсангами до последнего предела терпения, только между собой, скрытно, шепотом позволяли себе роптать на своих притеснителей; окончательно же выведенные из терпения *''смельчаки''* со страхом и осторожно приносили жалобы, но не русским властям, а тому же нойону, и только в тех случаях, когда тот или другой зайсанг не

пользовался особенным расположением нойона. В большинстве же случаев терпеливо сносились все хищения, неправды, гнет и обиды. Калмыки не могли пользоваться даже и теми жалкими обрывками прав, кои предоставлялись им ''Положением 1847 года''. Так, этим положением давалось народу право общественных сходок для обсуждения своих дел и нужд и постановления приговоров по ним. Но право это в действительности было чистой фикцией. Давление зайсангов на ''выборных от родовичей'' (по одному из пяти кибиток) было настолько сильно, что каждый общественный приговор составлялся не о том, что нужно было народу и чего он желал, а о том, что угодно и выгодно было зайсангу, выборные же только ''к сему руки прикладывали'' и молча расходились, иногда положительно не ведая, к чему они их приложили. Все это делалось настолько открыто, что не составляло секрета для главных приставов — этой высшей местной инстанции калмыцкого управления. Слова нет, что ''Положением 1847 года'', действующим и поныне, родовые сходки обставлены весьма заботливо, и заботливость о них простирается даже до того, что вслед за разрешением сходки, дабы составление приговоров было осмысленно, таковая не может состояться ранее четырнадцати дней, в течение которых все родовичи должны достаточно ясно обсудить свои нужды и предрешить возможность и способы удовлетворения их, но такая предупредительная заботливость оставалась мертвой буквой. Время, данное законом на обдумывание народом того, о чем будет рассуждаться на сходке, дабы выборные могли быть действительными выразителями уполномочивших их на то родовичей, пропадало совершенно даром.— Не народ *''думал''* на сходках, а зайсанги,— думы же народа оставались при нем и ложились тяжелым гнетом на его душе, придавленной суровой действительностью.

Составление приговоров по воле зайсангов, а не по желанию народа имело вредные последствия, между прочим и в том отношении, что они в важных случаях, особенно при отдаче земель в арендное содержание, почти всегда были подложными; администрации и до сих пор еще приходится производить дознания о ''подлинности'' их и убеждаться, что ''рукоприкладство учинено'' то мертвыми, то без вести пропавшими, то просто не существующими калмыками. Случалось и так, что после смерти зайсанга при опросе родовичей — действительно ли составлялся по их желанию известный приговор — оказывалось, что о нем они ''и знать не знали и ведать не ведали'', что фактически и доказывалось. А так как мертвые сраму не имут, получать же с них, по поговорке, на том свете угольками никто не хотел, то и приходилось живым родовичам переносить на себе все последст-

вия улусно-полицейских волокит и платить ''пострадавшим'' от признания приговора подложным ''протори и убытки''.

Бывали и такие случаи, что ''привилегированное сословие'' бесстыдственно собирало деньги с калмыков будто бы на расходы по ходатайствам о *''восстановлении прав калмыцкого народа, сохранении его обычаев и религии''*. Действительно, ''сословие'' это не раз возбуждало ''ходатайства'', ''уполномоченные'' от него ездили даже в Петербург,— и не раз,— с ''суммами''... но ходатайствовали там отнюдь *не за народ и его права,* а делали всяческие потуги за счет народа же *оттянуть время распоряжения об освобождении простолюдинов от обязательного отношения к ним,* иначе говоря — за деньги же народа ''хлопотали'', чтобы рабская петля подольше затягивала его шею, в чем, надо правду сказать, почему-то и успевали, о чем можно судить по тому, что простой в существе дела вопрос об освобождении калмыков от нойонов и зайсангов тянулся десятки лет и решился наконец только в 1892 году.

Поездки в Петербург особенно часты были в последнее время, и много на них истрачено народных денег для его же вреда, но, к счастью, напрасно. Народ же не переставал верить — и, веря, давать,— что ''привилегированное сословие'' ходатайствует о ''возвращении'' тех прав, коими калмыки пользовались ''исстари'', почему и не было ропота за поборы.

Такому, скромно выражаясь, неискреннему отношению привилегированного сословия к калмыкам много способствовало и калмыцкое духовенство.

Оно вместе с первым в лице своих представителей также страшилось предстоящих преобразований в управлении калмыками и в изменении их прав и также силилось выехать на народной шее и укрыть личные свои интересы за его спиной.

В этих видах духовенство всеми мерами старалось поддержать среди калмыков значение и власть привилегированного сословия. В этом был прямой для него расчет. Духовенство хорошо понимало, что вслед за уничтожением прав и привилегий нойонов и зайсангов и падением прерогатив их власти,— уничтожится и его исключительное положение, опиравшееся на престиж власти нойонов и зайсангов, и падет обаяние, о котором так они заботились, поддерживая друг друга,— вслед за преобразованием устои поколеблются, с глаз калмыков спадет завеса, и они увидят, что не о них печаловались, а о сохранении своего жирного куска.

В руках же духовенства было могучее орудие держать калмыков в слепоте. Таким орудием, несомненно, служила, как и служит пока, религия — эта единственная опора народа, которой до самого последнего времени никто не колебал и за подрыв которой

калмыки начали опасаться только в самое недавнее время, именно с 1889 года, когда покойным кавказским архиепископом Владимиром крещено было сразу около пятнадцати семейств.

Известно, что калмыки настолько глубоко уважают представителей своего духовенства, последние пользуются таким непоколебимым авторитетом среди народа, слепо верящего в их непогрешимость, что этому духовенству решительно не было никакой нужды измышлять еще новые, положительно противные учению Будды религиозные обряды с целью направить мысли калмыков в желаемую сторону — именно воздействовать на народ в смысле необходимости во что бы то ни стало удержать существовавшее положение потомков ''древних'' народных правителей и духовенства, убедить, что в этом — единственное спасение, что народ и религия погибнут, если так или иначе не будет защищен существующий порядок сословных отношений, установленный предками и освященный веками и религией, и что поэтому нужно усиленно молиться, молясь же, жертвовать на расходы по ходатайствам об удержании *старины.*

С целью поднятия народного духа в этом направлении и побуждения его к жертвам на пользу привилегированного сословия, но отнюдь не самого народа (о чем умалчивалось) и вместе с тем с целью освежить его религиозные бредни (разумеем массу суеверий, перемешавшихся с буддизмом),— в 1890 году высшим калмыцким духовенством придумано было особое всенародное религиозное торжество, с поразительной для калмыков обстановкой богослужения. Ввиду значения в калмыцкой жизни этого празднества, мы опишем его с необходимыми подробностями.

Предварительно куплен был ''неезжалый'' буланой масти (эту масть любит божество) конь и молодой, ''не бывший под человеком'' верблюд. Покупались эти животные духовенством по указанию *''Зурухайчи''*[1] (астрологов, хиромантов, вообще знатоков судеб) и обошлись народу более пятисот рублей, т. е. как раз вдвое, если не более, против действительной цены. Для лошади сделано было седло с полным прибором, богато украшенное чеканной работы золотом и серебром и усыпанное драгоценными камнями, богатая, шитая золотой и серебряной канителью попона, уздечка с серебряной насечкой и разными, тоже серебряными, бубенчиками и погремушками и желтый чехол в виде тех, какие надеваются на лошадей, впряженных в траурную погребальную колесницу. Для верблюда был куплен дорогой персидский ковер и на вьюк его кибитка. Затем вылили из драгоценных металлов бурхана (божес-

[1] *Зурухайчи* — искаженное от ''зурхачи''. (**Примеч. ред.**)

тво). К сожалению, я не мог узнать действительной суммы расходов на приобретение всего нужного для торжества.

Снарядив все, что требовалось для празднества, летом, в июне месяце, по всем местам, где есть хурулы[1] (капища), в улусе устраивались никогда ранее небывалые торжественные процессии при громадном стечении народа.

Внешняя сторона процессий состояла в следующем. На оседланного и убранного коня утверждали бурхана и книжные свитки; на верблюда, покрытого ковром и тоже оседланного, навьючивали разобранную на составные части кибитку, жилище бурхана, возле коня и верблюда становились стражники, одетые в древние кольчуги, со шлемами на головах в виде бычьей головы с рогами и в латах. Стражники держали в руках обнаженные старинные хорошо отточенные мечи и сабли. Рядом со стражниками стояли замаскированные гэлюны. Маски их состояли из голов разных зверей, которым придана была уродливость и свирепое выражение. Во главе стражников и масок был сам бакша[2], окруженный многочисленным духовенством, а по бокам его хоругвеносцы и музыканты. В таком строе торжественно при пении речитативом молитв на тибетском языке[3], финал которых сопровождался трубными звуками, гулом бубнов, лязгом медных тарелочек (цам), пронзительным завыванием в раковины, вся процессия три раза обходила вокруг хурула и затем останавливалась у главных его дверей, в которые бакша и входил в хурул в сопровождении части главного духовенства, другая же часть оставалась ассистентами при бурхане, водруженном на спине коня. По уходе бакши народ всей своей массой толпился пред конем, и протиснувшиеся к нему ''счастливцы'' сначала падали три раза ниц и затем прикладывались лбом ко всем частям туловища коня, не минуя и хвоста,— кто куда попал. При этом конь, дабы паче чаяния не лягнул кого-либо из своих поклонников, был стреножен. Во время поклонения коню и сидящему на нем бурхану ''жертва'' лилась рекой. Звенели не только трудовые ''медяшки'' бедняков, но сверкало серебро, шелестели также и ''бумажки''.

Каждый приходящий на торжество приносил с собой араку (водку из молочных паров), а на общественный счет покупались десятки баранов, мясо которых варилось, складывалось в хуруле и затем после отделения потребной части его гэлюнам остальное раздавалось народу.

---

[1] Хурулов в улусе пять законно существующих и столько же ''неразрешенных к существованию''.

[2] Главное духовное лицо в улусе.

[3] Кстати заметим, что тибетского языка никто в улусе не знает.

Смысл и значение этой торжественной, так дорого стоящей народу процессии, как объясняли мне калмыки, но не духовенство, — таков: народ уклонился от исполнения прадедовских обычаев, забыл заветы отцов, якшается с русскими, перенимает их обычаи и нравы, становится более похожим *''на ороса''* (русского), не повинуется в должной мере установленным предками властям (это нойонам-то и зайсангам!), пошатнулся в вере и не крепок в древнем благочестии (имеется в виду крещение в 1889 году пятнадцати семейств), развратился восприятием чужих обычаев и всем образом своей жизни и наклонностями идет к верной погибели, чем и *оскверняется* все то, что так дорого истинно калмыцкому сердцу и что отличало народ как верных поклонников Шакья-Муни (Будды) от остальных людей, враждебных калмыцкой национальности. Все же это суть тягчайшие преступления. За них, как за измену святому прошлому, заветам отцов и требованиям религии, разгневанное божество отступилось от калмыков и хочет жестоко покарать их, к чему уже и приступило. О последнем свидетельствует полная разладица в жизни калмыков, постигнувшая их нищета и болезни, ослаба в верованиях, измена властям — словом, по божьему попущению, все клонится к тому, что калмыков сравняют с оросами, припишут к крестьянам, отнимут ''вольности (?) и права'', и в конце концов самое имя ''калмык'' исчезнет с лица земли; хурулы запустеют или обратятся в русские церкви... ''Беда, великая беда грозит калмыцкому народу'', говорили мне, ''беда неминучая, если он отступится от веры своих предков и их обычаев, освященных муками отцов, и не обратится душой и сердцем к прошлому... Нужно молиться и усиленно молиться, чтобы разгневанное божество умилостивилось и благоволило возвратить народу свою защиту и покровительство и вновь поселилось среди него. Тогда, быть может, минует нависшая беда, вновь укрепится народ, и его не коснется рука, стремящаяся изменить его быт, религию и права!''

Мрачные и грозные эти внушения народу наглядно внедрялись в его понятия торжественной обстановкой процессии с конем, на котором ехало божество, и верблюдом, везущим его обиталище. Удалившееся божество, вследствие усиленных ''молитв и прошений'', как бы возвращалось в калмыцкие степи, и для нового его жилища готова была уже и кибитка... Просто и понятно! И калмыки глубоко верили в правдивость смысла и причин торжественных процессий и служения. Взирая на коня и поклоняясь ему, народ думал, что ''буланка'' есть действительно пегас небожителей и в простоте души своей полагал, что духовенством все так мудро устроено, что в лице укрепленной на седле фигуры бурхана действительно возвращается к ним божество во всей своей славе

и уже не карающим и гневным, а милостивым, готовым простить им прегрешения и измены; что оно поможет вновь воскреснуть к прежней жизни по старому завету и даст к тому силы; привилегированное сословие вновь будет править калмыками, и преобразования не коснутся их. Принося же покаяние за прошлые нравственные и религиозные недочеты, народ молитвенно и с надеждой кланялся ''коню и всаднику'' и просил привилегированное сословие и духовенство не покидать его, не делать беспомощным и приниматься *''за большой хлапот''*, чтобы все осталось по-старому!

Небывалое торжество, притом так пышно обставленное, действительно производило, как того и ожидали, сильное впечатление на невежественных калмыков, да и не только на них. Даже русское население, заинтригованное невиданным ранее зрелищем, массой стекалось посмотреть на *''моление твари''*; глядя же, многие вынесли сильное впечатление от торжественности и необычайности празднества и решили, что оно *достойно внимания, а не глумления и на комедию не похоже.* Несколько иронично отнеслись только к мелкой особенности *''моления''*, именно — всем казалось ''неловким'' то, что ''тварь тычет лбом в хвост коня, когда''... и пр.

Да и как было не поразиться калмыкам... Степь... масса народа... богатая, необычайная по своей обстановке процессия, предводимая многочисленным духовенством и охраняемая вооруженными стражниками и страшными масками... гром дикой, раздирающей душу, ошеломляющей своим заунывным, монотонным завыванием, музыки... Божество, возвращающееся к народу с грядущими милостями... поражающий глаза блеск сбруи пегаса... предвзятая мысль о причинах *''моления''*... Все это, естественно, в сильной степени должно было влиять на сердце и воображение калмыков, предварительно настроенных на известный лад. А при таких условиях, разумеется, легко было вести народ к намеченной цели, не опасаясь за потерю своего авторитета.

Но, чтобы понять причины такой меры воздействия на ум и сердце калмыков и в то же время судить об экстраординарности поводов, вызвавших ее, нужно помнить то поклонение представителям религии, точно каким-то земным божествам, какое калмыки оказывают им. Поклонение же это простирается до таких крайних пределов, как например целование места, на котором сидел бакша, колес его экипажа, следов от ног, питье воды, которой он умывается во время священнодействий и пр. И не было (не знаю, как теперь, т. е. после 1893 г.) той жертвы, которой не принесли бы бакше калмыки, если к тому была хотя малейшая возможность. А если так, если таково влияние главы духовенства на народ, то

естественно спросить — зачем же было прибегать к ''коню и всаднику?'' Неужели опасно было опираться только на один еще непоколебленный свой ''авторитет''? Положим — обстоятельства были таковы (разумеем *конец* старых порядков), что требовалась сила авторитета и сила незаурядная. Еще в конце пятидесятых годов правительство возбудило вопрос об освобождении калмыцкого народа от нойонов и зайсанов и о даровании им тех же прав, кои предполагалось дать помещичьим крестьянам, т. е. права *''свободных сельских обывателей''*. Но весьма важный этот вопрос, по несчастью для него, попал для разработки в местные комиссии и подкомиссии, старанием членов коих лежнем и пролежал в них едва ли не ''тридцать лет и три года''. Понятно, что особенное усердие к убаюкиванию его прилагали нойоны и зайсанги щедрыми подарками комиссионным нянькам, благодаря чему интересы самих нянек соответствовали желаниям нойонов, чтобы вопрос еще столько же, если не дольше, пролежал в комиссионной люльке, не вылезал бы оттуда и не вторгался бы в их сытую жизнь. Кто, наконец, вспомнил о калмыках и пробудил от летаргии вопрос об освобождении их, вызвал его к деятельной жизни и дал ему настолько сильный толчок, что убаюкать его уже не было возможности и пришлось вынуть из люльки — не знаю... Но с конца восьмидесятых годов обстоятельства сложились так, что лица, заинтересованные в неизбежном изменении существовавшего в улусе порядка, поневоле должны были хвататься за соломинку и пускать в ход все, чтобы только попытаться удержать, хотя бы только на время, гнилой, расшатанный до основания и, видимо, быстро разваливающийся строй калмыцкой жизни, но и гнилью своею выгодный привилегированному сословию и духовенству, ибо на нем зиждились значение, власть и богатство в особенности первого. Солидарное между собой и связанное общностью интересов духовенство и привилегированное сословие осязательно почувствовало, что почва под его ногами сильно колеблется, былое величие вместе с соединенными с ним благами земными приходит к концу и неизбежно должно рушиться... Переполох еще более увеличился от того, что ''верные люди'' сообщали из Петербурга, что в ''высших сферах'' серьезно принялись за рассматривание вопроса об освобождении калмыков и даровании им *прав* ''свободных сельских обывателей''. Одновременно с этими слухами в улусе вдруг совершенно неожиданно крестилась кучка калмыков. Для этой ''кучки'', несмотря на ее ничтожную малочисленность (около пятнадцати семейств) сразу же отводится с лишком семь тысяч десятин земли, на усиленные протесты против ''отвода'' которой ровно никакого внимания не обращается; строится церковь, созидается поселок с обособлен-

ным своим управлением от общекалмыцкого[1]; о крещеных усиленно заботятся; предоставляют им всяческие льготы и, оставляя в тени остальную массу народа, дают им все средства, даже с излишком, для занятия земледелием. Наряду с этим, особенно в разгар споров об устройстве Князе-Михайловского поселка, слухи об уничтожении прав нойона и зайсангов все более усиливаются, облекаются в определенную форму, назойливо проникают в народ, приобретают силу вероятности, сбивают калмыков с толку, производят смуту и невольно заставляют народ обратить внимание на поселок и задать вопрос — не в нем ли выход из стиснувшей со всех сторон бестолковщины?.. Понимая это, как было не смутиться — не калмыкам только, но в гораздо большей степени — привилегированному сословию и духовенству? Как не ухватиться за соломинку?

Почуяв же близкую беду, не желавшие реформ, стараясь ослабить впечатление, произведенное на калмыков фактом устройства Князе-Михайловского поселка, настойчиво уверяли народ, что так как крестились только ''мошенники и разбойники'', то высшее правительство разузнает ''подноготную'' крестившихся,— не только не обратит на них внимания, но, напротив, разобрав, в чем дело, сошлет их в Сибирь, что относительно этого уже приняты меры, и у нойона (увы! крещеного) есть все средства и возможность с фактами в руках доказать, кому следует, необходимость *для пользы калмыков (некрещеных)* ссылки ''выкрестов'', что земля никогда не будет им отведена, если же теперь и *''межуют''*, то за это *''поплатятся''*..., для доказательства последнего и показывалась калмыкам копия с телеграммы, посланной нойоном ''министру'' о задержке нарезки земли впредь до выяснения дела (факт). Далее утверждалось, что не только не будет существовать Князе-Михайловский поселок и разгонятся выкресты, но и устроители его будут преданы суду; церковь же и постройки ''сломаются'' и след их уничтожится...

По поводу всего этого и многого другого в связи с вестями *''оттуда''* (из Петербурга) о безуспешности ''ходатайства'' калмыки сильно волновались. Туча висит — в этом не было сомнения,— но чем она разразится,— для кого польется из нее благодетельный дождь и кого осыплет она градом — никто не знал; не знал же потому, что потеряна была вера в толкователей ''слухов''. Что же касается волнения среди калмыков, то они были

[1] Крещеные калмыки Князе-Михайловского поселка управляются общегосударственными законами о сельских обывателях и уравнены с ними в правах и только избавлены от воинской повинности.

не совсем в пользу привилегированного сословия, в особенности, когда все воочию убедились, что крещеные калмыки спокойно сидят на своих усадьбах, что попытки их выселить ни к чему не привели, что Князе-Михайловский поселок — не только не уничтожается, но напротив увеличивается и капитально обстраивается, что нарезка земли в его пользу есть уже совершившийся факт; что похвальбы в успехе ходатайств в г. Тифлисе пред Главноначальствующим на Кавказе и *''там''*[1], равно и посулы настоять на оставлении нетронутыми ''старых порядков'' — остались *только похвальбами*, и все доподлинно узнали об этом. Все это поставило привилегированное сословие в крайне неловкое положение по отношению к калмыкам и в сильной степени подорвало уверенность народа в значении *''там''*, т. е. в Петербурге, его представителей. Явились недовольные, решившиеся открыто и смело заявлять протесты, нашелся выход из векового гнета, и народ при малейшем ''прижиме'' начал безбоязненно заявлять о том, что он, *''если что''*, то и *''старину бросит''* и *пойдет ''в крещеные''*, где сделается недосягаемым для притеснителей. Словом, ''предержащие власти оказались не только сконфуженными, но и окончательно выбитыми из привычной колеи, по которой они шли столетия ко благу своему и нищете народа, но мириться с таким положением не хотели и в то же время хорошо понимали, что для того, чтобы ''устоять'' — нужно, если не чудо, то какие-либо чрезвычайные меры. Всем понятно стало, что одним авторитетом ничего уже не поделаешь с народом, вступившим на путь сомнений и недоверчивости к словам и посулам привилегированного сословия. За неимением же других наличных средств к возвращению народа *''вспять''* вожаки обратились к религии и именем ее устроили ''чрезвычайную меру'', именно — необычно торжественные процессии водворения божества среди покинутого им народа. Весь фокус такой меры состоял в том, чтобы направить мысли калмыков на прошлое, затронуть в них религиозную струнку, оживить и освежить любовь к своей национальности; ярко осветить греховность измены заветам отцов и тем, хотя и косвенно, но верно, побудить народ — не только к устойчивости в желаниях сохранить все ''по-старому'', но и к ходатайствам и жертвам на то, чтобы *''калмыки остались калмыками''*, иначе говоря, чтобы привилегированное сословие по-прежнему царило бы над ними. Для вящего же успеха ''пускались слухи'' и

[1] Зайсанг М. ездил уполномоченным в г. Тифлис ходатайствовать об уничтожении поселка. Ездили и в Петербург.

запугивания солдатчиной, отобранием земли, насильным крещением и проч. и проч.

Авторитет религии, разумеется, в сильной степени повлиял на калмыков, заставил временно забыть о том гнете, какой он нес, благодаря бесправию своему и рабской покорности привилегированному сословию, настолько повлиял, что ловко пущенная в народ мысль о перекочевке в Монголию, как то сделали их предки при Убуши хане, начала бродить между калмыками и они не шутя занялись ''помышлениями'' об этом важном шаге.

''Мы не о себе хлопочем'', уверяли калмыков.

''Нам что... Вас же скоро заберут в солдаты... припишут к крестьянам... перекрестят...''

''В Монголии же вы останетесь такими же калмыками, как были и есть... Русский поп недаром поселился''...

Известно же, что инертный народ на многое может решиться, когда неумелой, чисто полицейской проповедью чуждой ему религии пробудят его дух от неподвижной спячки и затронут самые дорогие и святые его чувства.

Положим, от нищего, забитого, рабски покорного своей судьбе народа трудно было ожидать твердой решимости последовать примеру своих предков; если калмыки и ''храбрились'', указывая на пример выселения кавказских горцев в Стамбул, то этим они только подбодряли себя, желая показать, что и они не манекены... Тем не менее, хотя калмыки и не ''черкесы'', все-таки могли произойти очень и очень нежелательные осложнения со скверными последствиями для народа, если бы брожение это не прекратилось кстати подоспевшим объявлением закона 15 марта 1892 г., по которому ''калмыки простолюдины'' освобождались от обязательных отношений к своему привилегированному сословию и в своих правах сравнивались со свободными сельскими обывателями. Закон этот дал новый толчок предположениям калмыков.

Ознакомившись с упомянутым законом, калмыки начали понимать, что все страхи их были напрасны, что нет ''приказа'' — ни крестить их насильно, ни в солдаты отдавать; ни земли не отбирают, ни русскими не называют; не трогают и хурулов, а *только нойоны и зайсанги раз навсегда лишаются права собирать с народа албан в свою пользу, устраняются от административной и всякой другой власти над народом и делаются совершенно посторонними людьми по отношению к правам и обязанностям калмыков — из прежних владык их обращаются в ничто для формальной стороны жизни и даже уравниваются с ними в правах, как со свободными гражданами.* — Словом,— наступил только конец юридическому рабству во всех его проявлениях. Сам же народ, получая свободу и права, *не лишается прежних своих льгот по владению землей, по самоуправлению и не привлекается к отбыванию воинской повинности натурой''.*

Кажется, все просто, ясно и удобопонятно. Тем не менее *религиозные процессии* и иные воздействия на калмыков со стороны не желавших нового закона не прошли бесследно и заявили о себе даже в такую торжественную минуту, как объявление самого закона. В день объявления *закона* собрана была масса калмыков. После ''служения'', совершенного по желанию главного пристава даже с ''конем и всадником его'', после обеда, речей, вышивки и проч. — калмыки все-таки, выслушав все ''теплые'' слова и начальственные пожелания — *обратились к главному приставу с просьбой: нельзя ли составить общественный приговор, чтобы все осталось по-старому. ''Двести с лишком лет... наши отцы... деды... вера''...* слышалось со всех сторон.

Но это было уже предсмертной вспышкой желаний окончательно потерявших свои права и привилегии. Жаль только, что главный пристав позволил себе не принять подававшегося ему прошения от имени калмыков о восстановлении прав нойона и вообще об отмене закона 15 марта 1892 г. Жаль, во-первых, потому, что многие убедились бы в бесполезности ''праздничных'' разглагольствований, красивых по форме и бессодержательных по существу; а во-вторых, и особенно потому, что прошение это было бы в своем роде важным историческим документом — не в смысле выразителя действительных желаний калмыков и их *чувств* к нойону и зайсангам,— даже и не в смысле показателя понимания народом значения в его быте только что совершившегося факта — нет, прошение это явилось соломинкой, за которую силилось ухватиться утонувшее прошлое нойонов и зайсанов, соломинкой, предусмотрительно приготовленной ими от имени бывших их рабов — это одна сторона дела. С другой же факт подачи калмыками прошения ясно свидетельствовал об умении улусных властей обращаться с народом, ''вдалбливать ему понимание'', говорил об их авторитетности, значении и доверии к ним. В подаче прошения вылилось все прошлое отношений к калмыкам приставов и попечителей и вполне заслуженно поставило их в комическое положение в самую, так сказать, патетическую минуту их фигурирования пред народом...

Затем — соломинка эта сожглась бы самими калмыками вскоре же после объявления ''закона'', если бы объявившие его имели осторожность не допустить в день объявления бестактности, повлекшей за собой недовольство калмыков, разные кривотолки и протесты, коими впоследствии и сумели воспользоваться недовольные. Бестактность же эта настолько важна по своим последствиям, что мы о ней не умолчим. Состояла она, во-первых,

в речах, в коих ''начальство'', несмотря на болезненную подозрительность калмыков, сразу заговорило о крещении, солдатчине и пр.; во-вторых, устроители ''общественного обеда'' слишком понадеялись на безапелляционность своего авторитета, простоту калмыков и послушание приказам. Понадеявшись же, самовольно, не имея на то права, все расходы по устройству ''обеда'' отнесли на счет общества, даже не предварив его о том и не спросив согласия, но, дабы оформить расход и законно вывести его по приходо-расходным книгам, велели составить общественные приговоры. Таким исходом дела общество калмыков поставлено было в тупик потому, что все думали и были уверены в том, что их *угощают* не на общественные деньги. Думать же так калмыки имели основание, благодаря прозрачным начальственным намекам на то в день обеда.

Разочаровавшись в уверенности, что ''на даровщину пообедали'', калмыки начали роптать, и ропот свой часть более смелых родовых обществ облекла в общественные приговоры, коими прямо отказывалась ''платить за угощение'' и смело высказывала недоумение — почему раньше не спросили их — ''желает ли народ тратиться на угощение?'' Вышло неприятное gui pro guo ... В конце концов власть взяла, разумеется, свое. Но в народ пошла молва: *''так с нами всегда поступают; что хотят, то и делают... Теперь нойонов нет и защитить некому... кто поддержит старину?''* Благодаря такому исходу ''угощения'', калмыки не избавились и от иронических замечаний со стороны своих сородичей, не бывших на *торжестве.* А что? Хорошо *угостили* вас? Платитесь-ка теперь!'' К этой бестактности вскоре же прибавилась еще худшая — именно, не давши народу одуматься и осмотреться, понять суть своего нового положения; не давши улечься взбудораженным страстям, успокоиться от вольных и невольных волнений и притупиться вниманию к самым разнообразным, в большинстве нелепым, слухам,— главный пристав решился наложить свое veto на получение самими калмыками доходов с отведенной в их пользование земли и на право распоряжаться по своему желанию не только излишком ее, но даже и *пайками.* Вредные последствия такого распоряжения не только перепутали, как увидим, все экономические устои быта калмыков, поставили их во враждебные отношения к русскому соседнему населению, с коим связаны были интересы первых, и перепутали все их долговые обязательства, но и заставили задуматься над своей дальнейшей участью, ибо обычный источник средств к жизни взмахом пера вырван был из рук народа, и калмыки окончательно сели на мель. Лишившись же прав распоряжаться землей по своему усмотрению, народ невольно поставил себе

подсказанный другими (а может быть и сам по себе) вопрос: ''позволят ли есть, что хочется и когда хочется; не заставят ли переменить покрой одежды? Не запечатают ли хурулы?''... Пошли толки, что *''если бы мы были, то не было бы этого''.* Народ вновь остановился на своем прошлом; решил, что пережитое не так страшно, как грядущее неведомое, вновь возложил свои упования на ''коня и всадника'', забыл прежние обиды... и примкнул к ''депутации в Петербург''; дома же, в улусе, началось открытое высказывание недовольства ''установленным порядком'' и сожаление о ''добром старом времени''. А так как выше указанная нами ''мера'' главного пристава составляет, если можно так выразиться, эру в экономической жизни калмыков, то мы подробно и рассмотрим ее, когда будем говорить о способах пользования калмыками землей; теперь же окончим рассказ о нойонах и зайсангах.

Благодаря разным ''ошибкам'' и преждевременности некоторых мер, настойчиво проводимых в быт калмыков, влияние привилегированного сословия на простолюдинов пока еще не устранено и только формально оно ''отторгнуто'' от последних. Тесная связь эта будет продолжаться до тех пор, пока улусная администрация не будет заменена другим, более подходящим органом управления, не имеющим ничего общего с институтом главных приставов, попечителей и т. п. Новый орган управления наверное поймет, что и *калмыки имеют права, умеют иметь законные желания и не нуждаются в няньках типа нойонов и попечителей с главным приставом во главе,* поймет, что излишне строгая опека убивает энергию, инициативу, предприимчивость и вообще расслабляюще влияет на волю и ум... К чему давать право применять поговорку: ''из огня да в полымя''...

Небезынтересно знать, что законом 15 марта 1892 г. калмыки освободились от привилегированного сословия чрез посредство выкупа с уплатой нойону около семидесяти тысяч рублей, т. е. суммы, составляющей пятилетнюю сложность ежегодно получавшегося им албана; такой же точно расчет произведен был и зайсангам, сообразно с причитавшимся им албаном. Но получили выкуп только *аймачные зайсанги,* т. е. те, которые владели родами. Кроме выкупа, еще в 1871 году нойон получил земельный надел в 1775 десятин, аймачные же зайсанги по 400 д. и безаймачные по 200 д. на душу. Выкупные деньги уплачены, как уже говорилось, не из государственного казначейства, а из калмыцкого общественного капитала,— иными словами, калмыки сами себя выкупили, что с большим успехом можно было бы сделать и гораздо раньше...

Что же касается земли, отведенной нойону и зайсангам в их *пользование,* то вопрос о ней еще не окончен, почему и неизвестно,

признаются ли права на нее потомственными или же она останется во временном пользовании.

Ввиду нерешенности вопроса о правах на землю позволим себе высказаться, что, по нашему мнению, усадебная земля должна быть потомственной, остальная же только во временном пользовании,— иначе за что же дан выкуп? Одно что-нибудь — или земля, или деньги. Положим, оставить привилегированное сословие совсем без земли нельзя. Тогда пусть оно получит такой же душевой надел, как и прочие калмыки. Ведь уравняли же нойонов и зайсангов с ''простолюдинами'' в деле взноса ''подымной подати'' — те и другие теперь одинаково взносят по шести рублей в год с *кибитки,* а не с *имущества.* Почему же не уравнять и в правах на землю? За что давать ее больше, да еще в таком не пропорционально громадном количестве? В уравнении прав на одинаковое количество земли всех без исключения калмыков справедливость ни в каком отношении не была бы нарушена. Земля не есть — ни родовая, ни жалованная, ни благоприобретенная, а данная в 1871 году *во временное пользование.* Следовательно, в признании временности прав на землю и в незакреплении, ее за потомством бывшего привилегированного сословия нигде и ни в чем не будет посягательства *на чужие права собственности,* ибо все калмыки пока имеют только временные права пользования занимаемой ими землей. Зачем же допускать исключение для бывших нойонов и зайсангов? Справедливость заставляет предполагать, что так и будет поступлено, тем более, что не придется — ни уничтожать документов, ни считать их недействительными, ибо никаких документов на эту землю, говорящих о потомственности прав на нее — нет и не было.

Закончим курьезом. Законом 15 марта привилегированное сословие привлечено ко взносу в казну податей наравне с простолюдинами и по одинаковому с ними окладу (6 р. в год). Такое уравнение показалось обидным для ''сословия'', как бы *унижающим его достоинство по происхождению.* ''Как! нойона, его сиятельство! нас, зайсангов! и пр. сравнять с простолюдинами?'' ''Да берите с нас вдвое, втрое, только отличите нас''...

Так говорили обиженные и в таком смысле возбудили ходатайство пред министром государственных имуществ; для поддержания же ходатайства посылали ходоков в Петербург. Но, как и следовало того ожидать, ходатайство окончилось ничем, хотя и не угомонило разгневанного самолюбия не славных потомков славной и могучей когда-то орды Чингис-хана.

Так миновала власть и богатство поработителей калмыцкого народа, и есть надежда, что с уничтожением разных инородческих приставов калмыки стряхнут с себя плесень прошлого. Избавившись же от ненужных, но самолюбивых и властолюбивых мундирных нянек, они вскоре уравняются с крестьянами и затем умело и охотно принялягут на землю, в обработке которой их спасение...

Обратимся теперь к калмыцкой чиновной администрации и посмотрим, что она сделала и как относилась к калмыкам.

V.

Закон 15 марта 1892 г., похоронив власть и права нойонов и зайсангов по отношению к калмыкам, нисколько не коснулся административного управления ими,— оно во всех частях своих осталось прежним, покоящимся на ''Положении об управлении калмыками'', изданном в 1847 году, и только усилил и расширил права попечителя улуса передачей ему обязанностей нойона. Вместо последнего во главе улусного управления стал попечитель улуса и два его помощника.

''Положением'' 1847 года круг деятельности попечителя улуса и его помощника сводился главным образом к чисто полицейским обязанностям. Громкое же и многозначащее название должности: *''попечитель''* в существе дела оставалось пустым звуком. И это потому, что тем же ''положением'' нойону предоставлено было право председательства в улусном управлении и вменялось в прямую и непосредственную его обязанность: ''ведать калмыцкими землями, распоряжаться местами кочевых стойбищ, заботиться о продовольствии народа, развитии скотоводства, склонении калмыков к оседлой жизни и занятию земледелием, ходатайствовать об удовлетворении их законных нужд, увеличивать общественный капитал, заботиться о благосостоянии народа и добром его поведении''. Словом, вся судьба народа и по преимуществу экономическое его положение находились в руках нойона; попечитель же улуса являлся как бы чем-то придаточным к нойону, со второстепенными, мало значащими правами и мог действовать не иначе, как *по совету с нойоном,* но только с правом входить в критическую оценку ''действий'' его, ''несогласных с законом'', о чем и доносить высшему начальству. Иначе говоря, попечителю вменялось в обязанность быть улусным ''недреманным оком'', долженствующим зорко смотреть за всем, что делается в улусе, и если этому недреманному оку приходилось узреть что-либо несуразное и противное законам, оно должно было спешить с ''доношением'', ''дабы тем оградить интересы народа и предотвратить могущие быть ущербы казне''. Роль незавидная, если смотреть на нее с ''формальной точки зрения''. Но при желании поступать нелицеприятно и действовать не токмо за страх, но и за совесть —

попечитель, помимо его чисто полицейских обязанностей, мог многое делать и в пользу, и во вред калмыкам, мог быть действительным их попечителем и ограждать интересы народа от произвола нойонов и зайсангов. Оставляя в стороне форму и основываясь на точном смысле ''Положения'' 1847 года, попечитель сосредоточивал в лице своем и мирового посредника, и нотариуса[1], до введения же судебной реформы в Ставропольской губернии он был и мировым судьею по ''смешанным'' делам (т. е. в тяжбах калмыков с русскими), и судебным следователем. Но на беду калмыков улусное око всегда было вообще подслеповато и обладало способностию зорко видеть только свою пользу. Что же касается полицейских дел, то в сфере их попечитель пользовался совершенно независимой от нойона властью и разделял таковую со своим помощником, не имевшим никакого самостоятельного значения в улусе.

Затем в штате улусного управления состоял и состоит еще письмоводитель, писец, *письменный* переводчик и толмач.

О письмоводителе говорить нечего, обязанность его одинакова во всех канцеляриях. Но зачем ''сии два'': толмач и письменный переводчик? Выходит, как будто один пишет и переводит, а другой толмачит переведенное. Интереснее же всего то, что много уже лет служащий при управлении толмач ни одного слова не знает по-калмыцки.

Все ''чины улусного управления'' в материальном отношении более чем обеспечены. Так, попечитель улуса получает до 1800 руб. в год, его помощник около 1200 руб., письмоводитель до 600, писцы и толмачи от 25 руб. до 40 руб. в месяц. Весь этот расход пополнялся из калмыцкого общественного капитала; из него же черпались средства и на все другие расходы по содержанию улусного управления и канцелярии его, так что собственно казне калмыки и управление ими ничего не стоило.

К числу улусной администрации, хотя уже и не чиновной, следует отнести также и родовых писарей, получающих от пятнадцати до двадцати пяти рублей в месяц.

Затем верховным жрецом всей этой ''улусно-полицейской команды'' состоит главный пристав, живущий в Ставрополе-Кавказском и заведующий также ''магометанскими народами, кочующими в пределах Ставропольской губернии'', как-то: эдисанцами, эдишкульцами и др. Права и обязанности главного

[1] Договоры, не засвидетельствованные в улусном управлении, равно и контракты, считаются недействительными и не должны быть свидетельствуемы нотариусами.

пристава можно точно обозначить следующими немногими словами: ''надзирать, направлять, разрешать, карать, охранять и сохранять''. Охраняет он одни общественные капиталы, все же остальные обязанности сводятся к операциям над народом и ''чинами''. За исполнение этих обязанностей он получает *до пяти тысяч рублей в год* из общественных сумм. Жалованье огромное и... напрасное. Вообще все служащие в инородческом управлении получают, как говорят ставропольцы, *''не русские, а инородческие оклады''*.

Оставляя в стороне помощников попечителя улуса и ниже их стоящих на улусной служебно-иерархической лестнице, по причине несамостоятельности круга их действий, обратимся к попечителю улуса — не как к лицу, а как к должности. Эта оговорка необходима, ибо меткое замечание Гоголя, что стоит произнесть печатно бранное слово и наверное найдется кто-либо из желающих принять его на свой счет — и теперь справедливо. Итак, мы будем говорить о должности, а не о лицах.

В долгий период господства нойонов, в особенности до 1871 года (до разверстки земли), попечителю улуса жилось хорошо, даже очень хорошо. По словам знатоков их жизни выходит, что у них каждый день была масленица, и затем во всю последующую свою жизнь они не знали поста, если были умны и хоронили масло и сыр про черный день. Единственно, что делало порой масло горьким и сыр соленым, это неизбежные столкновения с нойоном и зависимость от него, если и не служебная, то чрез посредство ''влияний в губернии''. Суть в том, что по служебному своему положению попечитель должен был быть, как мы уже сказали, ''недреманным оком'', что нойонам не всегда было по нутру. Для того же, чтобы ''дело'' шло на лад, попечителю, если он был не враг себе и не ''разоритель семьи'', приходилось входить в сделку со многими из нравственных требований и заключать немое, но выгодное по своим последствиям соглашение с нойоном — вроде, например, такого: ''Ты молчи и закрой око'', мимически показывал нойон попечителю, ''и благо ти будет и долголетен будеши в улусе''.

''Ладно! не мешай только пахтать масло,— отвечал попечитель,— да хвали меня где следует''.

История попечителей свидетельствует, что почти все они не были себе врагами, имели здравый ум, практическую сметку, почему и предпочитали лучше дремать, нежели вытаращивать глаза и входить в пререкания с нойонами. К тому же последнее было весьма и весьма опасно. Нойон получал более двенадцати тысяч рублей в год, дохода этого не мог лишиться, пользовался полной доступностию во всех ''домах'', имел вес в губернии, и

слово его принималось в резон. А все это были настолько веские данные, что попечителю как чиновнику, притом не сановному, трудно было бороться с нойоном и идти наперекор его желаниям. На случай же пробуждения недреманного ока и помехи в чем-либо нойоны имели полную возможность залепить око и сделать его навеки безвредным для себя. Соображаясь с этим, попечитель обыкновенно смирялся,— особенно на первых порах службы в улусе, не перечил нойонам, не раздражал их самолюбия и... благо ему было.

Но так уж устроен человек, что чуть только он ''оперится'' и почувствует ожирение кармана, как и начнет колобродить. Истина эта оправдывалась, между прочим, почти на всех попечителях, бывших в улусе. ''Поджившись'' (так характеризуют местные обыватели результат взяток) и ''насытившись'', даже и не всегда ''до отвала'', все они кончали ''подрыванием корня'' — иначе говоря, так или иначе начинали ссориться с нойонами, ''подкапываться под них'' и заявлять кстати и некстати о том, что, у них есть чиновничье самолюбие и заплывшее чужим жиром понятие о ''чести мундира''. Понятно, что из таких ''пререканий'' с нойонами толку для народа не выходило, и попечители по настоянию нойонов так или иначе ''вылетали из улуса''. Один же из них, выражаясь местным жаргоном, даже был избит калмыками, но уже по собственной инициативе последних без всякого в том участия привилегированного сословия.

Вообще говоря, причиной ссор нойонов с попечителями улуса было отнюдь не ''стояние их на страже калмыцких интересов'' — нет. ''Соблюдение закона и защита народа от притеснений'' служили только канвой, на которой плелись, сплетались и переплетались личные страсти, мелкое самолюбие, зависть к ''наживе'' другого, ''поддевка'' друг друга на почве взяточничества и других хищений. Затем с течением времени личные недоразумения и недовольство переходили в ссору, оканчивавшуюся традиционным: ''мы с вами служить вместе не можем''. Народ же, его интересы, защита от несправедливостей и забота об его благосостоянии в ссорах попечителей с нойонами не играли никакой роли.

Судя по воспоминаниям калмыков и с не меньшей достоверностью по рассказам арендаторов калмыцкой земли — попечители никогда не были для калмыков *попечителями* в том смысле, как понимал и понимает эту должность закон и как следует понимать, зная значение этого слова. По общему отзыву всех и каждого, попечители улуса считали ниже своего достоинства заговаривать с калмыками человеческим языком. Брань, кулаки, плети, казачьи нагайки, ''сидение в казарме'', оплеухи и ''затрешины'' ''по поводу и без оного'' — вот что ''преподносилось твари'' (местное

выражение) вместо ''языка'' при всех сношениях с народом. Особенно же памятно народу *''сидение в казармах''*, о котором калмыки без нервного содрогания и вспомнить не могут; по их словам, за час ''сидения'' в казачьей казарме они готовы были поплатиться годом тюремного заключения, до того оно было ужасно.

Расскажем о нем.

При улусном управлении, расположенном на самой отдаленнейшей окраине Большe-Дербетского улуса, именно в селе Ивановке, устроены были казачьи казармы для помещения казаков, высылаемых в улус из Кубанской области для отправления военно-полицейской службы. Казаки всегда были слепым орудием в руках попечителей улуса, всякое приказание их исполнялось *точно,* несмотря ни на противозаконность его, ни на жестокость. Так вот, если бывало калмык в чем-либо провинится или же только будет заподозрен в совершении преступления, даже и без оснований к тому, то его вызывали в улусное управление и в случае *''запирательства''* посылали *''одуматься''* и *''подумать''* в казарму. Казаки же хорошо знали, что нужно делать с присланным к ним калмыком. Такого несчастного не только били и истязали, но и всячески издевались над ним... Не было той жестокости, не было ''издевки'' и ''надругательства'', которого не производили бы над калмыками тороватые на это казаки, видевшие в лице своей жертвы — не равного себе человека, а *тварь,* мучить которую они не считали для себя ни грехом, ни жестокостью. Истинно зверская жестокость казаков и теперь еще с болью в сердце отзывается у калмыков при воспоминаниях о ''казарменной бывальщине''.

Все искусство в истязаниях над ''тварью'' должно было состоять в том, чтобы не оставалось на теле ''знаков'', кои могли бы изобличить казаков,— разумеется не пред попечителями, а так, на всякий случай,— в том, что они ''проделывали'' с тварью.

Понятно, что после такой ''побывки'' в казарме калмык ''одумывался'' и, лишь бы избавиться от казармы и сидения в ней, *охотно* возводил на себя все, что нужно было и угодно попечителю и *сознавался* в совершении таких преступлений, о коих и понятия не имел. Но попечителям не было дела до того, правдивы ли показания, сделанные под страхом и болью от истязаний; им нужно было только то, чтобы преступник был налицо и сознался в совершении взводимого на него преступления. Нужно же это было для того, чтобы официально доказать, что *власть не бездействует, напротив энергично заботится о раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении их.* Затем, если на суде калмык и

отказывался от своих показаний, придуманных им в казачьей казарме,— не беда. *''Все калмыки и всегда врут; воры же они заведомые''* — вот конек, на котором попечители всегда и выезжали благополучно, не спотыкаясь на обвинениях их калмыками в жестокостях и истязаниях.

''В зубы ему, вору, в зубы дать бы, да хорошенько — тогда он и сознался бы... А то нежности!.. Вы, Джембинов, что скажете?.. вы, Соктогоров, что знаете?.. Да разве можно так обращаться с тварью?''

Так и в таких словах негодовали попечители улуса, присутствуя в окружном суде в качестве свидетелей по калмыцким делам, и почти вслух высказывали свое *негодование на мягкое обращение членов суда с ''каторжной тварью''*; мало этого, в этой *мягкости обращения* видели потворство преступлениям и убеждали других, что *суд мешает им, попечителям, искоренять преступления в улусе.*

''Если бы и на суде, как в улусе, трещали калмыцкие зубы и скулы и трещали бы за все, за самомалейшие пустяки, тогда дело другое. Можно было бы бороться с ''поганью'' и выбить из нее привычку воровать...

Эта теория искоренения преступлений всецело царила в улусе. Били калмыков и нойоны, и попечители улуса, и их помощники, и писаря; с их же *легкой руки* били и все, кто только хотел, так что, по словам самих же калмыков, не бил их только ленивый. От нарочитых же жалоб *начальству,* кроме заявлений у *''мирового''*, на побои калмыки положительно отучены и даже со страхом помышляют о них, ибо из горького опыта знают, что им своей же ''шкурой'' придется отвечать за подачу *''поршений''* (прошений).

Мы уже упоминали о том, что за последнее время не было случая, чтобы кто-либо — не только из попечителей улуса, но даже и из частных лиц,— ответил за побои калмыков. Начиная с самого отдаленного прошлого, калмыки знают только один случай, когда помощник попечителя улуса А. был сослан в Сибирь за то, что до смерти *''засек под розгами''* одного из них. Другой же случай жалобы, тоже на ''помощника'' Р. главноначальствующему на Кавказе за истязания и побои — окончился ничем. Дело затерли, замазали, исказили, и виновник оказался кротким агнцем. Если же письмоводитель Я. и заплатил по приговору мирового судьи сто рублей калмыку за побои, то это исключительный случай, исключительный потому, что Я. никто не захотел *поддержать.* И только недавно, именно в 1893 году, попечитель улуса Г. в своих истязаниях калмыков настолько перешел все возможные границы, что дело о нем не могло быть *скрыто,* почему и попало в руки судебного следователя. Исхода его мы не знаем, но оно так

характерно и настолько, по-видимому, неправдоподобно, что мы считаем нужным предать его гласности, не сгущая, а напротив, смягчая краски.

В 1893 году калмыки Икитуктунова рода, нуждаясь в деньгах на покупку корма для скота, который в ту необычайно суровую зиму со страшными ее вьюгами и метелями массами пропадал с холода и голода,— твердо решили не взносить в улусное управление для хранения собственных своих денег, следуемых им с арендаторов за землю, на что, разумеется, и имели бесспорное право. Попечитель же улуса Г., несмотря на всю очевидность нужды народа в деньгах, настаивал на своем и, опираясь на распоряжение главного пристава, требовал от калмыков и их арендаторов, чтобы деньги были отданы ему. После неоднократных, но безуспешных пререканий попечитель созвал общественный сход. А так как калмыки и на сходе заявили, что они не могут дать нужных им денег и *не понимают даже права, по которому хотят отобрать от них их же собственные деньги,* то Г. вместо того, чтобы разъяснить калмыкам смысл своих требований и сказать им что-либо более разумное, чем: ''так требует главный пристав, а вы должны подчиняться и выворачивать свои карманы, а не рассуждать о каких-то своих глупых нуждах и правах на свои деньги'',— велел сходу собраться на другой день, но не предупредил, для чего. Собравшийся на завтра народ сбили в кучу вызванные ночью казаки. На вопрос Г., ''желают ли отдавать деньги'', калмыки скромно заявили, что не могут — иначе ''лишимся скота и сами голодны будем''. Слова эти показались возмущением, и Г. велел казакам обнажить шашки и ''взять'' подлую тварь в нагайки''. Приказ был в точности исполнен. Несмотря на то, что струсившие калмыки не оказывали никакого ''сопротивления'',— казаки все-таки ''атаковали'' их, избили нагайками и исполосовали саблями, одному же из них даже ранили лицо. При этом сам Г. не отставал от казаков и принимал самое деятельное участие в избиении ''паршивцев'', т. е. калмыков. Мало этого, в то время, как казаки громили ''поганцев'',— Г. успел ворваться в хату арендатора земли, принялся кричать, грозить ''казаками'' и лезть ко всем с кулаками ''до морды''. Словом, наделал такого переполоху, что одна из хозяек квартиры, женщина беременная, с перепугу ''тронулась умом'' и вскоре же преждевременно родила.

Понятно, что после такого разгрома перепуганные и избитые калмыки, арендатор и его семья не только отдали Г. деньги, но готовы были отдать ему и последнее свое достояние, лишь бы избавиться от казацких нагаек.

Деньги получены, калмыки избиты... кажется бы и конец

истории. Так нет же — Г. этим не ограничился. Он счел необходимым еще и арестовать старшину и двух ''почетных стариков'', которых торжественно как трофеи своей победы и повел с собой в г. Ставрополь-Кавказский, чтобы посадить в тюрьму ''за бунт и сопротивление власти''. К счастью, губернатор иначе взглянул на дело, не допустил последнего издевательства над ни в чем неповинными калмыками, и ''арестантам'' дана была свобода. Поступок же Г. остался безнаказанным, и он продолжал служить попечителем улуса до конца июня месяца, т. е. до времени, когда он сам сознался главному приставу, что растратил казенные деньги...

Не правда ли, что все это настолько дико, что с трудом верится в возможность таких фактов? Между тем все это быль — и быль, случившаяся не где-нибудь в медвежьем углу, не на окраинах наших, а близехонько и *в 1893 году*. Естественно возникает вопрос, что же раньше проделывали попечители?..

Кстати, расскажем интересный конец службы Г. в Большe-Дербетском улусе, так как конец этот весьма характерен для ''*попечителя*''.

Растратив около шестисот рублей общественных калмыцких денег, Г. в июле месяце 1893 года уехал в г. Симферополь, а затем уже в 1894 году ухитрился изобразить из себя начальника пограничной стражи, полковника П. и по подложным ассигновкам на его имя пытался получить из армавирского казначейства (Кубанской области) сто тысяч рублей из числа двухсот тысяч, аккредитованных на сформирование пограничной бригады. Документы и ассигновки так ловко были подделаны, что у казначея не было основания заподозрить Г. в мошенничестве и подлогах, тем более, что из г. Тифлиса от тамошних властей получены были телеграммы, подтверждавшие факт необходимости выдачи денег, а из Ставропольского казначейства выслали деньги на усиление средств армавирского казначейства же. Словом, все подготовлено было настолько искусно, что Г. непременно получил бы деньги, если бы на беду его в числе служащих в армавирском казначействе не оказался один из товарищей ловкого плута, который, узнав Г., секретно дал знать о том казначею, а затем и атаману кубанского казачьего войска, который немедленно и арестовал мнимого П.

О крайне интересных подробностях этого дела мы не будем говорить. Ими переполнены все кавказские газеты за февраль и март месяцы 1894 года.

Пред последним мошенничеством Г., разумеется, побледнеет на суде дело об истязании им чрез посредство казачьей команды калмыков Икитуктунова рода, и оно затрется ''в совокупности преступлений'' его, хотя, по нашему мнению, оно важнее мошенничества в армавирском казначействе.

Говоря вообще о всех попечителях Большe-Дербетского улуса и оставаясь только в пределах правды, без преувеличения фактов, нужно заметить, что всеми ими принималось за систему — видеть калмыков всегда и во всем виноватыми и признавать, что несправедливых жалоб на них не бывает. Исходя из этой точки зрения, хорошо известной крестьянам и арендаторам, имеющим непосредственные сношения с калмыками, каждый попечитель принимал за истину всякие небылицы от ''жалующихся на тварь'' и, не входя в дальнейшие разбирательства, по-свойски расправлялся с ''ворами и мошенниками от чрева матери своея'', что и ставил себе в особенную заслугу и гордился пред другими своею строгостью, авторитетно заканчивая свои филиппики в защиту нравственно-воспитательного значения собственного кулака и казачьей плети — уверением, что ''иначе ничего не поделаешь с этой поганью — калмыками. Слов она не понимает; только кулак и плеть и могут научить ее восьмой заповеди''...

Не ограничиваясь, так сказать, единичными, собственноличными и казарменными расправами с ''калмыцкой поганью'',— попечители и главные пристава периодически устраивали еще и ''общественные порки'', ''на миру'' показывали, как закон карает преступников.

''Порки'' эти устраивались обыкновенно так.

Во время ''служебной поездки главного пристава по кочевьям'' в каждом роде в заранее назначенные для того дни собирались общественные сходки не из одних только выборных от рода, а со всего мужского взрослого населения. На сходках в присутствии ''всех чинов'' улусного управления и казаков сначала ''разговоры разговаривались'', как говорят калмыки, знающие русский язык, или же ''переливалось из пустого в порожнее'', как отзывались о том же русские крестьяне,— и все в ''мягком'', заигрывающем тоне ''с посулами''. После такой предварительной подготовки приступалось к ''вычитыванию'' калмыцких злых деяний, но уже повышенным тоном; в конце причитаний объявлялось, что ''проступков и преступлений без наказания нельзя оставить''..., а посему: ''так одумайтесь же, мы вас оставляем и на время уйдем, потолкуйте между собой, укажите нам порочных своих родовичей и тогда составим приговор о наказании их розгами, дабы это послужило добрым уроком не токмо для воров и преступников, но и для всех остальных, у коих не чиста совесть''.

''Ну что?.. поняли? Смотрите, чтобы не пришлось вам каяться, если не укажете на негодяев из вашего общества...'', грозно заканчивалось начальническое воззвание к ''чести общества''.

Родовичи, жалея своих собратов, ''неремянаются'', отказываются выдавать, уверяют, что в среде их нет особенно порочных членов, что все они ''богу грешны и начальству виноваты'', но непременно постараются исправиться к лучшему и т. д.

Такие ''отнекивания'' раздражают начальство, и оно уже гневно, с ''прискоком'' и внушительными жестами замечает:

''Напрасно время теряете. Мы знаем, кто из вас воры и таковых сами накажем; но тогда вам же всем хуже будет. Сгонят ваши кибитки в одну кучу, поставят казаков и никуда никого не будут отпускать. Одумайтесь. И без вашего приговора имеем право выпороть, кого захотим, ибо *вы все воры наголо.* — Но вам же лучше будет, если вы сами укажете своих негодяев. Это будет свидетельствовать о том, что среди вас нет потворщиков ворам и мошенникам, что сами вы способны к исправлению и понимаете, что закон запрещает укрывать преступников'' и пр. в этом же роде. Калмыки убеждаются, наконец, в том, что им нет возможности отклонить беду, что милости им никакой не будет, и по общему между собой совету избирают из среды своей две-три жертвы искупления вин всего рода и обрекают их на удовлетворение начальнических понятий *''об искоренении зла в народе и держании его в почтительном страхе и уверенности, что закон не дремлет и власти бдят, стоя на страже его''.* Быть может, калмыки были бы и устойчивее в деле защиты своих собратов от розог, но угроза ''сбить'' кибитки в одно место всегда оказывает сильное давление на решительность отказа в выдаче ''виновных''. Сбор кибиток в ''кучу'' равносилен обречению народа на голод, в особенности летом.— Колодцев нет, корма для скота тоже; отлучаться из хотона не смей, если не отпустит начальство — словом, томись без воды и пищи скот и люди. Во избежание такой перспективы, не раз уже изведанной калмыками, волей-неволей обществу, дабы не страдать массой, приходится удовлетворять требованию начальства и указывать как на воров на безответных своих членов, по преимуществу бедняков, наказанием которых приобретаются общественное спокойствие и нестесненная жизнь.

Выдачей ''негодяев'' начальство остается довольным и даже не интересуется узнать их curriculum vita, а просто велит попечителю улуса ''начернить'' общественный приговор о желании наказать розгами воров, проредактирует его, исправит текст в местах, где не сильно оттенены причины наказания, сделает добавления и со словом ''валяйте'' отдаст писарю ''набелить'', т. е. переписать приговор ''начисто''; покуда же писарь пишет:... ''по сему, по общему нашему согласию, мы единогласно приговорили подвергнуть таких-то двадцати пяти ударам розог...'', на сцену являются казаки и стелется солома, на которой по очереди и распластываются обреченные на истязание. По обеим сторонам обнаженной части тела становятся казаки с пучками розог и по команде ''ассистента экзекуции'' мерно, не торопясь, дабы ассистент не сбился со счета, хлещут по ни в чем не повинному телу. Раздается

отвратительный свист розог и жалобный стон жертвы, но ассистента это не смущает; свист и стон не отзываются болезненно в сердце его; напротив, он как бы с особенным смаком считает удары и при этом, приказывая казакам бить ''пореже, да покрепче наддавать'', ''вычитывает'' вины наказуемого. Но и этого мало, — считающий удары розог умышленно сбивается со счета и ошибку свою поправляет злорадным приговариванием:

''А это тебе за то, чтобы не жаловался, не жаловался, не жаловался... не будешь, не будешь, не будешь кляузничать... Не воруй, не воруй, не воруй... Не вводи, не вводи меня в грех... Сыпь, сыпь, сыпь ему, каналье. Жарь, жарь, жарь''.[1]

По мере же произнесения этих слов казаки ''в две руки'' продолжают ''сыпать удары'' и ''жарить'' издающего стоны калмыка. Благодаря же таким ''ошибкам'' в счете, наказуемый получает двойную порцию. Замечательно, что калмыки считают для себя большим позором кричать под ударами розог. Они только глухо стонут, некоторые же, дабы не издавать и стонов, пред наказанием розгами берут палку в рот и грызут ее, что сердобольным улусным начальством и не возбраняется.

К числу давно уже забытых в Европейской России особенностей наказания калмыков розгами нужно отнести и ту предварительную подготовку к нему, какою занята бывает улусная администрация.

По мере усиления воровства в улусе расширяется и переписка с разными ''местами и лицами'' — то о поимке воров и грабителей, то с объяснениями ''причин усилившегося воровства'', то пишутся проекты ''об уничтожении грабежей и разбоев'', то составляются целые соединенные комитеты для выработки ''руководящих начал, приняв кои за основу, можно надеяться, что хищничество и воровство, еси не уничтожится в Больше-Дербетском улусе, то значительно ослабеет''. Но конечным результатом всех рассуждений и переписок являются ничем незаменимые, как самая радикальная исправительная мера наказания, все те же розги. И нужно заметить, что характерным признаком многоплодности переписки служит число наказанных розгами калмыков. Чем обильнее переписка, тем больше ''полосуют тварь''. Последним ''номером бумаг'' исходит предписание попечителю улуса — к назначенному числу приготовить должное количество розог. Вот тут-то и начинается комико-трагическая деятельность улусного начальства. Известно, что в калмыцкой степи нет ''материала для заготовления орудий наказания педагогической части тела''. Не только

[1] Передаем факты, виденные нами лично.

лесов, но и кустарников не водится. В приходо-расходной же смете на этот предмет нет назначения,— ''хоть на свои покупай'', ибо нельзя же составлять общественных приговоров об отпуске родовых сумм на предмет покупки в г. Ставрополе розог. В этом случае выручают попечителей из беды метлы, ежегодно закупаемые целыми возами в г. Ставрополе-Кавказском для ''уничтожения пруса''[1]. Дня за три-четыре до приезда в род главного пристава попечитель улуса делает распоряжение: ''зашить в рогожи требуемое количество розог, выбранных из метел'', причем обращается внимание на длину и гибкость прутьев. Зашитые в рогожу розги *секретно* развозятся по родам, в коих назначено ''быть порке''. Секретно это делается для того, чтобы калмыки ''не пронюхали'' о предстоящем им наказании и не разбежались бы.— Опасаясь этого, с розгами и возятся как с писаной торбой, сохраняя серьезность и таинственность такого важного в глазах улусной администрации события, как ''порка'' калмыков.

При ''секанции'' калмыков не обходилось дело и без игры в великодушие. Так, ''по приговору'' назначено было высечь одного старика в числе других пяти жертв, что и было объявлено ему; конфиденциально же решили, ввиду старости его и болезни, не наказывать розгами. Несмотря же на такое решение беднягу все-таки ''обнажили'', когда пришла его очередь, положили на солому, велели казакам ''приготовиться'', т. е. поднять руки с розгами для удара, и в тот миг, когда они готовы были опуститься на тело испытывающего муки ожидания первого удара, раздалась команда ''стой''. Казаки опустили розги, старика подняли, дали ему, дрожащему от страха и позора, возможность одеться, прочли должную нотацию, дали понять, что он обязан восчувствовать все великодушие начальства, обратили на это внимание всего общества и, самоуслаждаясь великодушием своего поступка, подтвердили, что в их руках ''право и миловать и наказывать''. Старик и все общество слушали... молчали... минута была тяжелая и кончилась тем, что старик пал в ноги начальству; — общество же, как бы очнувшись от кошмара, кланялось и благодарило за избавление старика от позора... В общем получилась картина, *умилительная* для экспериментаторов, гнетущая для постороннего зрителя и бессмысленная, но тяжелая для калмыков, справедливо удивлявшихся и не понимавших причин, побудивших к ''*проделыванию комедии раскладывания и прощения*''. Устроители же этой комедии, вероятно, не знали, что для чрезвычайно стыдливых калмыков самым тягчайшим наказанием служит именно *обнажение ''позорных частей тела''*, а не побои, в каком бы то ни было виде. Побои для них — *ничто;* они привыкли к ним, но не привыкли обнажать то, что не принято обнажать и что по взглядам их считается величайшим позором. Следовательно — *для помилованного старика,* в существе дела, никакой *милости* не было в освобождении от телесного наказания, раз тело бедняги было обнажено. Напротив — он перенес жесточайшую нравственную пытку. Перенесши же ее, что называется, до конца,— вынужден был еще и *кланяться в ноги и благодарить* — иначе говоря, должен был прибавить плюс унижения к испытанной уже пытке позора... Что должен был чувствовать старик, клапявшийся в ноги своим милостивцам — думаю и без слов понятно...

Но быть может, несмотря на все выводы науки о вреде телесных наказаний вообще для всех людей,— по отношению к калмыкам в виде исключения эти выводы оказываются ложными и калмыков можно нравственно воспитывать только чрез посредство кулаков, плетей, розог, казарменных сидений,— в особенности же розог, как наиболее действительной меры исправления?.. Посмотрим, что на этот вопрос отвечают всем известные в улусе факты и факты непреложные.

После одной из вышеописанных ''публичных экзекуций'' участвовавшие в общественном сходе калмыки, разъезжаясь по своим хотонам, напали на отару овец, распугали ее и захватили из нее несколько штук. Факт весьма важный. Не вдолге спустя, а сейчас же после созерцания начальнических приемов ''внедрения нравственности в народе чрез посредство розог'', находясь под свежим, не потерявшим еще своей остроты впечатлением от процесса наказания, со звоном еще в ушах от выслушанных нравоучений, свиста розог и угроз, что ''если воровство будет повторяться, то примутся еще более строгие меры'' — калмыки, едва успели показать свои спины, скрыться с глаз исполнивших свой административный долг и покинуть место своего позора, как нимало не медля, совершили воровство, т. е. как раз именно то, за что их ''пороли'' час тому назад и за что обещали ''еще строже наказать''. Мало этого. В соседнем роде собранные в тот же день и для той же цели калмыки,— зная, что происходит у соседей и что их вскоре же ожидает,— ''соскучились'' ожидать, томиться и голодать и... *со степи украли быка, зарезали, съели и затем уже апатично выжидали приезда начальства!* Не знавшее же об этом ничего начальство точно так же проделало с ними все то, что и с первыми. Разговоры, увещания... отказы... общественный приговор... розги... только, кажется, не было акта великодушия... калмыки точно так же слушали... молчали... кланялись... обещали... благодарили... и... несомненно смеялись в душе и глумились

[1] *Прус* — род насекомых подотряда саранчовых. (**Примеч. ред.**)

над *комедией,* чувствуя сытость в желудке от только что съеденного быка, раздобытого способом, который так красно порицается и так жестоко наказывается. То же, что они думали, глядя на устроителей публичного позорища,— было бы весьма поучительно знать для последних. Наверное, узнав, они почувствовали бы по меньшей мере неловкость и впредь не решились бы становиться в такое комическое положение, как то было с ними в действительности...

Приводить другие факты не будем. Рассказанные нами настолько характерны и так ясно иллюстрируют пользу и практическую пригодность плетей и розог для исправления калмыков, что решительно нет нужды ни прибавлять от себя что-либо для пояснения их, ни касаться других фактов, однородных с приведенными. Разве только добавим, что после одной из таких расправ калмыки, высказывая свои суждения о личности и характере устроителя расправы, между прочим не без иронии заметили, что *у него ''старые штаны''*, и по этому поводу пришли к заключению, что *''она затем такой сердита, что хочет новый штаник... наживет новый штаник — будет мягка''*... Горьким опытом приобретена эта многознаменательная уверенность в возможности изменения правил человека, раз у него заведутся ''новые штаник''! И нет никакого сомнения в том, что все указанные нами выше меры исправления нравственности народа вели и ведут к совершенно противоположным результатам. Калмыки, как и следовало того ожидать, обтерпевшись и присмотревшись ко всякого рода наказаниям, потеряли всякий страх к ним и только летом не выносят тюремного заключения, платясь за него чахоткой. Но это последнее происходит не в силу каких-либо нравственных мук, связанных с понятиями калмыков о лишении свободы и о позоре за то, а в силу отмеченной уже нами неприспособленности их организма к жизни в иных, кроме кибитки, помещениях. Вообще же наказания ни в какой мере и ни в каком отношении, несмотря на всю их жестокость и разнообразие, отнюдь не исправляли калмыков и не удерживали их от совершения преступлений, а только изощряли способности в выборе способов совершения хищничества и воровства и содействовали укреплению обычая взаимно поддерживать друг друга. Достаточно сказать, что строгости никогда не вели к действительному раскрытию преступлений среди калмыков. Несли же наказание по суду не изобличенные полицией и не разысканные ''чинами'' ее, а только попавшиеся на месте совершения преступления или же с поличным. Все же вообще преступления, без этих важных условий, оставались и остаются нераскрытыми.

О причинах скрытия преступлений калмыками мы уже говорили. Калмыки, благодаря общей солидарности между собой, не только умело скрывают следы преступлений, но всегда охотно и также умело скрывают и преступников, бежавших не только из острогов, но даже и с каторги, и последние совершенно свободно живут среди своих сородичей, даже обзаводятся семьей и хозяйством. Все их знают, только для улусной администрации они как будто ходят в шапках-невидимках. Мало этого — благодаря тому, что при улусном управлении по непонятной причине никогда не велось, как не ведется и теперь, метрических записей, калмыки имеют полную возможность выступать официально под именами и фамилиями умерших своих сородичей, ни в чем никогда не заподозренных, что и практикуется всеми калмыками с большим успехом в случае неудобства называть свои имя и прозвище. В таких случаях у полиции нет никаких данных для установления личности того или другого калмыка, и ей поневоле приходится верить на слово и свидетельствовать, что такого-то, положим, зовут *Манжиком,* а не *Бадьмой,* и что Бадьма умер, а Манжик жив,— тогда как на самом деле именно Манжик умер, а Бадьма жив. Калмыки же свободно могут доказать противное.

Со своей стороны русское население не способствует администрации к раскрытию преступлений, ибо каждый соприкасающийся с ''калмыцкими делами'' из опыта знает о формальном отношении полиции к делу преследования преступлений, сопровождающегося только бесполезными побоями калмыков. Зная это, крестьяне в большинстве случаев сами ''разделываются'' с ворами и хищниками и редко, разве только для очистки совести, доносят начальству. Не заявляют же отчасти по бесполезности таких заявлений, но больше из боязни мести. Последнего особенно боятся арендаторы калмыцких земель. Положим, и есть отчего им трусить. Известно, что калмыки мстят не только за себя и своих родных, но и за всех вообще родовичей. Обычным средством мести служат поджоги сена и хлеба, кража овец, скота и лошадей. Дабы оградить себя от таких ''случайностей'', арендаторы стараются не раздражать калмыков и иметь у себя пастухами не русских, а калмыков, кои и служат как бы порукой за целость скота и овец. Администрация же почти всегда бессильна оградить русское население калмыцкой степи от мести кочевников, точно так же бессильна и преследовать преступления. Поэтому нет ничего удивительного в том, что никто не доверяет попечителю улуса и, в совершенстве зная всю суть многих преступлений, равно и места укрывательства преступников, никто не хочет содействовать властям в поимке воров и хищников даже и в тех случаях, когда тот или другой арендатор имеет фактические доказательства в руках.

В видах справедливости нужно заметить, что господствующи-

ми преступлениями среди калмыков служат только воровство и грабежи скота, лошадей и овец со всеми последствиями этих преступлений, исключая убийства, которые весьма редки. Другого же рода преступления пока единичны, что резко отличает калмыков от соседнего с ними крестьянского населения, но все говорят о том, что в скором времени все пороки и преступления пышно расцветут среди выбитых из обычной колеи калмыков. Что же касается статистических данных о количестве преступлений в разных их видах, то в настоящее время таковые в гораздо большей степени процветают среди крестьянского населения, чем среди калмыков. Если же взять во внимание податливость калмыков, то если бы улусная администрация стояла в других отношениях к ним и оставила бы излюбленный ею способ ''пресекать и предупреждать, а равно и опекать'', то не было бы ничего удивительного в том, что калмыки, изменив свой образ жизни, что неизбежно в скором времени и совершится, в общем не были бы так преступны, как то есть теперь и как то приписывается им. Для этого же им нужно коренным образом изменить всю обветшалую уже, оставшуюся позади современной жизни систему управления калмыцким народом, перестать смотреть на него как на нечто неправоспособное, нуждающееся в опеке архаических попечителей и главных приставов, обратить калмыков в действительно свободных сельских обывателей и преобразовать весь строй управления ими, дабы и самое название настоящего управления изгладилось из памяти народа и не напоминало бы калмыку о былом прошлом. Иначе калмыки, оставаясь в настоящем своем положении относительно неупорядочения прав и управления, окончательно извратятся и преступления в среде их разовьются в сильной степени; из простых воров они обратятся в разбойников и в дальнейшем своем развитии на этом пути усвоят все роды преступлений, наклонность к чему уже замечается. При этом люди, хорошо знакомые с бытом калмыков, прямо говорят, что если калмыки останутся под таким же управлением, какое есть теперь, то улус обратится в открытый острог. Нищета, лишение права самостоятельно распоряжаться доходностью с земли, ненужное вмешательство в имущественные дела и строгая во всем опека над калмыками прямо ведет к крайне вредным последствиям и усиливает развитие наклонностей к воровству и всевозможного рода и вида преступлениям.

Но если попечители улуса не только бесполезны для калмыков, а даже в некотором отношении и прямо вредны, как задерживающие естественное развитие народа, то, быть может, они оправдывают свое существование в другом каком-либо отношении, находящемся вне обязанностей ''предупреждать и пресекать преступления''? Быть может, они ограждают материальные интересы

калмыков и содействуют поднятию их крайне жалкого экономического положения? Праздный вопрос!

Мы уже знаем, что прежние попечители улуса, находясь в экономической и отчасти служебной зависимости от бывших нойонов — владельцев улуса, не решались оправдывать свое назначение и не входили в активное разбирательство отношений нойона к народу, хотя на последнее имели все права и это составляло прямую их служебную обязанность как *попечителей*. Но ''шкурный вопрос'' всегда отодвигал их заботу о ''благе народа'' далее, чем на задний план. Слова нет, что все попечители улуса всячески извлекали и притом умело извлекали все выгоды из своего положения, но не в пользу народа, а в свою собственную, не брезгуя в этом направлении ничем. Недаром же среди высшей ставропольской администрации и в обществе составилось представление об инородческом управлении, как о воровском; недаром же до принятия обязанности главного пристава уважаемым А. А. Самойловым (конец семидесятых годов) место попечителя улуса и его помощника покупалось за тысячи рублей! Да — недаром! Еще свежи рассказы,— так свежи, что как будто это было вчера,— о том, как попечители жили, поживали и добро наживали в улусе. ''Веселья'' не прекращались, шампанское и ''заморские вина'' лились рекой; по реке Ягурлыку, на берегу которого была улусная ставка (место сосредоточения управления улусом) устраивались летом ''увеселительные флотилии'' с казаками-гребцами, песенниками, музыкой и, разумеется, дамами ''разного калибра''; зимой же ''шли балы за балами'', на которых ''солидные мужчины'' (разумей ''чины'' улусного управления) проигрывали ''в трынку'' целые состояния... Живы еще участники этих роскошных пиров попечителей, и с сожалением вспоминают они о былом прошлом величии этих опекунов калмыцкого народа. Слушая же рассказы об изобилии млека и меда в калмыцкой степи для попечителей, понимаешь почему все так жадно ловили места в улусе, и за право ловли платили громадные деньги...

Но откуда же брались средства на покупку служебных мест в улусе и на обращение личной жизни в нем в беспрерывную масленицу с ее пирами и весельем?..

До 1871 года, т. е. до разверстки земли между калмыками Больше-Дербетского улуса, вся степь была в общем пользовании кочевников, излишек же ее они не имели права отдавать кому-либо в аренду даже на годовой срок, равно и вообще лишались права пользоваться доходностью с нее путем не личного, а чужого труда. Положением об управлении калмыцким народом право извлекать доходы из земли предоставлялось улусному управлению, т. е. попечителю улуса и нойону; но нойон устранялся от

сбора денег за землю, и приятная эта обязанность всецело возлагалась на попечителя улуса и, по его доверию, на помощника попечителя. Всякий нуждающийся в калмыцкой земле — для распашки ли ее, для выпаса ли на ней скота, овец и сенокошения — должен был сначала обратиться к попечителю улуса, получить от него ''бланку'' на дозволение пользоваться землей и за срочное право пользования ею взнести произвольно условленную плату, а затем уже пахать и выпасывать скот, не входя ни в какие переговоры с калмыками. При этом контроля над действиями попечителя не было никакого. Никто не усчитывал ни скота, пущенного на выпас, ни десятин земли, сданной под распашку и сенокошение,— проверялась только запись в приходо-расходных книгах и то не по существу, а чисто с внешней, формальной стороны. Обращалось внимание по преимуществу на то, нет ли где подчисток, помарок и правильно ли выведены итоги и транспорты.

Такая ревизия была весьма выгодна для попечителей улуса в том отношении, что они имели полную возможность безнаказанно входить во всякие личные сделки с нанимателями земли. Условившись с арендатором, попечитель улуса совершенно свободно и безбоязненно показывал в книгах самую минимальную часть арендной платы, остальную же часть ''приспособлял'' в свой карман. Сами калмыки как очевидцы, а также чабаны, гуртовщики скота, овцеводы рассказывают, что попечитель и его помощник во время весеннего объезда степи для дозора — нет ли на ней самовольно выпасывающих свой скот и овец, равно и не распахивают ли ее — *''собирали полную шкатулку бумажек, было также серебро и золото''*. Сбор этот был независим от того, какой получался попечителем, сидя на месте, т. е. в улусном управлении. Таким путем не десятки, а сотни тысяч скота и овец ежегодно выкармливались на калмыцкой степи, и не сотни, а десятки тысяч десятин распахивались калмыцкой земли, и только разве сотая доля получаемого со всего этого дохода попадала в пользу общественного калмыцкого капитала, остальная же львиная доля расползалась по карманам попечителей улуса и их помощников. Насколько велик был доход попечителя улуса и чинов управления во главе с патроном его, именуемым главным приставом, можно судить по тому, что калмыцкий общественный капитал, несмотря на все хищения и утайки попечителей, все-таки смог возрасти до двухсот с половиной тысяч рублей. Положим, в пользу его собиралось ежегодно по двадцати семи копеек с кибитки; но эти копейки — капля в море сравнительно с тем, что давала земля и из чего только крупицы попадали по своему назначению,— и все-таки крупицы эти составили две трети общей суммы капитала. Впоследствии мы скажем, что благодаря этой статье дохода, т. е.

взиманию арендной платы за землю, почти вся калмыцкая степь давно уже распахана самым хищническим способом и целинная земля встречается как редкость, несмотря на то, что владельцы ее — калмыки — не земледельцы. Нет слова, что с 1871 года доходность с земли собственно для попечителей и других чинов улусного управления в значительной степени сократилась, и совершенно изменился способ извлечения ее,— но все-таки нажива по этой статье осталась весьма крупной и вот в каком отношении.

Известно, что после нарезки земли, что было в 1871 году, калмыки получили право сдавать излишек душевого надела в аренду отдельными участками по своим общественным приговорам на срок до двенадцати лет. Такие приговоры приводились в исполнение не иначе, как после ''рассмотрения законности их попечителем улуса и санкции главного пристава''. Вот в этом-то и заключается главный секрет. Секрет же этот вполне будет понятен, когда мы скажем, что *калмыцкая земля сдавалась в аренду от семи копеек в год за десятину под распашку и сенокошение, тогда как действительная стоимость той же десятины между крестьянами никогда не была ниже пятидесяти копеек в год.* Понижение стоимости земли, разумеется, было обратно пропорционально личной доходности попечителей улуса. Но еще более мы поймем суть секрета, когда узнаем, что попечители улуса по соглашению с арендаторами с успехом реформировали единицу меры земли и казенные 2400 сажен в десятине обратили в 3600 сажен, и такую меру земли назвали *калмыцкой десятиной.* Что сами попечители улуса и арендаторы придумали такую меру, обратив полторы десятины в одну, того доказывать нечего, ибо известно, что у калмыков как у кочевого народа не было понятия о дробных измерениях земли, а следовательно не существовало и единицы для определения общего и частичного количества земельных участков. Об этом ясно свидетельствует между прочим и то, что во всех общественных приговорах по поводу сдачи земли в аренду калмыками не определяется количество десятин таковой, а указываются границы участка — ''от кургана такого-то до другого кургана, от балки до дороги'' и пр., и затем уже сами арендаторы для нормировки платы добавляют от себя, что в этом участке ''считается приблизительно столько-то десятин''.

Добавив же к установлению арендной платы за землю и произвольному определению количества сажен в десятине еще и исключительное право *только попечителя улуса* свидетельство-

вать договоры по сдаче земли в аренду[1], мы не только поймем попечительский секрет извлечения доходов в свою пользу, но и сообразим приблизительную сумму таковых, особенно, когда на основании достоверных данных добавим, что половина калмыцкой земли, т. е. около ста десяти тысяч десятин ее находится в аренде, но не крестьянских обществ, а отдельных лиц, с коими гораздо легче вступать в ''интимные соглашения''. Результатом же таких соглашений всегда было сильное давление на общество, сдающее землю, а также и понижение арендной платы до наивозможного минимума... Что же тут удивительного, что не в особенно еще далеком прошлом Большe-Дербетский улус представлял из себя для администрации его обетованную землю с молочными реками и кисельными берегами, страну, в которую все стремились в неложном уповании ''откормиться, обрасти шерсточкой и сделать запасец про черный день''. Желания эти, разумеется, скрывались, и на вид выставлялась только необходимость поправить калмыцким кумысом свое расстроенное на службе здоровье. Слушая рассказы об этом, мне невольно припомнился случай из служебной практики одного из лучших генерал-губернаторов Восточной Сибири, именно г. Синельникова. Гвардейский офицер, желавший поправить расстроенные свои финансы, выхлопотал себе место исправника в Иркутской губернии. Известно же, что сибирские исправники до травли их графом А. П. Игнатьевым, бывшим генерал-губернатором В. Сибири, получали не менее двадцати пяти тысяч рублей в год. Ознакомившемуся же с местными условиями службы гвардейцу показалось и это недостаточным. Он узнал, что горные исправники получают гораздо больше и что золотопромышленники, кроме денег, дают еще ''квартиру и полное содержание включительно до шампанского''... Соблазнительно... Соблазнившись же, гвардеец отправился к генералу Синельникову просить место горного исправника. На вопрос генерал-губернатора,— что заставляет просителя забираться в глушь и менять высшую должность на низшую,[2] — гвардеец красноречиво начал доказывать, что будто бы доктора советуют ему пользоваться горным воздухом, к тому же он любит охоту и проч. в этом же роде. Слушал, слушал г. Синельников небылицы исправника и, не заметив в них ни слова правды, вынул из кармана

[1] По закону нотариусы не имеют права свидетельствовать какие бы то ни было письменные договоры калмыков с кем бы то ни было. Обязанность эта возложена на попечителя улуса.

[2] Должность горного исправника ниже двумя классами должности земского исправника.

кошелек, потряс им перед носом гвардейца и внушительно проговорил: ''Неправда! Вот что манит вас туда, а не горный воздух!'' Точно так же попечителей улуса, как горных исправников, манит в улус не калмыцкий кумыс, а нечто другое, на основании чего и составился взгляд на инородческое управление, как на воровское.

Итак, земля составляла главную статью доходов попечителей улуса. Пользовались же ею они и искусно, и беззастенчиво. Вместе с этим они не брезгали также и другими отраслями своего управления, могущими приносить дары. Калмыцкая степь и ее обитатели представляли из себя в этом отношении воистину классическую страну баранов, замечательных тем, что они, как характерно выразился Щедрин в одном из ''Писем к тетеньке'', ''к стрижке ласковы'' (понятно, не калмыков он имел в виду) и после оголенья вновь обрастают с изумительной быстротой. Кто будет их стричь, к этому вопросу они, по-видимому, равнодушны, ибо знают, что стрижка есть нечто неизбежное в их жизни. Как только они завидят, что впереди грядет человек, стригущий и бреющий, то подгибают под себя ноги и ждут, подгибать же ноги калмыкам приходилось всякий раз, когда наезжали в их стойбища улусные чины. Стриглись они и за избавление от казарменного сиденья, и за изменения в ранее сделанных показаниях по тому или другому уголовному делу, и за уничтожение протоколов, и за неотбывание почтовой гоньбы, и за несвоевременный сбор на сходку, и за чуму, и за пруса — словом, вариации предлогов к стрижке были самые многосторонние и многообразные и всецело зависели от творческой изобретательности попечителей, их помощников и всех других, имевших официальное соприкосновение с калмыцкими делами. Бралось же всем — и скакунами, и рысаками, и деньгами, и баранами, и мерлушками, брались даже части недоеденного барана. В этом последнем отношении особенно прославился некто О. Калмыки и теперь без смеха не могут вспомнить, как этот помощник попечителя улуса, въезжая в хотон (поселение), всегда и неизменно выкрикивал: ''сию же минуту резать барана! Передок сварить, а задок и кожу в тарантас живо!''. И его беспрекословно слушались. Но более всего приходилось платиться калмыкам за почтовую гоньбу, чуму и пруса. На этих ''язвах'' калмыцкой жизни мы пока и остановимся.

Кажется до семидесятых годов в калмыцкой степи не было обывательских станций, устроенных в определенных пунктах улуса, как то есть теперь. Попечитель улуса, равно как и все чины, имевшие право ''разъездов'' по улусу на обывательских лошадях, перед поездками своими обыкновенно посылали вперед верховых казаков с приказами о заготовке лошадей в местах, кои предполагалось ''обозреть''. Нужно заметить, что у калмыков не было ни

сбруи, ни навыка к упряжке лошадей, ни умения править ими (даже и в настоящее время имеющихся не у многих). Лошади же как совершенно дикие плохо поддавались неумелым усилиям калмыков втиснуть их в оглобли и запрячь. Поэтому проезд разных чинов по улусу был истинным мучением и для калмыков, и для их лошадей. И сами калмыки, и их дикие лошади доходили до изнеможения, и только после этого измученные и ''замордованные'' лошади позволяли надеть на себя хомут и впрячь в тарантас. Случалось и так, что попечитель почему-либо не приезжал в хотон в назначенное время; тогда лошади оставались в ожидании проезда по нескольку дней в хомутах. Но вот начальство нагрянуло... началась возня запряжки лошадей неумелыми людьми... Крик... бестолковая суетня... Плети по коням... плеть по калмыкам... зуботычины... неумолкаемая ругань... Но и это еще не беда... тарантас так или иначе все-таки тронется с места... Горе же в том, что чиновник легко мог на первых же двух-трех верстах бездорожной езды загнать тройку лошадей насмерть или же запалить ее, т. е. сделать никуда негодной, чем и причинить убыток минимум в полтораста рублей, да кроме того и наложить совершенно на законном основании штраф в несколько рублей за ''дачу негодных к гоньбе лошадей''. И приходилось беднякам ''умасливать'' начальство и тем спасать свои спины от плетей и своих лошадей от гибели. Не менее начальства разоряли калмыков и казаки. Разъезжая по улусу с приказами и для дозора, казаки велели седлать себе не тех лошадей, каких давали им калмыки, а лучших из табуна. Калмыки по опыту знали, что значило такое требование и к чему оно клонилось. В сущности казаку было все равно, какую лошадь ни дали бы ему, лишь бы она не была клячей, если же он и требовал лучшего коня, то потому лишь, что знал, что калмыки будут откупаться от выдачи хорошей лошади, иначе ей грозила опасность быть испорченной, устранить же это можно было только путем подачек казакам.

Для выездов попечителей улуса и их помощников из улусной ставки калмыками куплено было две тройки упряжных лошадей, сбруя, экипажи, да кроме того на фураж лошадей и содержание сбруи и экипажей в порядке ежегодно платилось попечителю до 1800 рублей в год, которые почти целиком и поступали в его карман, ибо для выпаса лошадей отводилась еще и ''кутина'', т. е. заливной луг на берегу р. Ягурлыка, размером около ста десятин. Луг этот помимо того, что доставлял годовой запас сена, давал еще и доходность до двухсот рублей в год, которые и шли на покрытие расходов по найму ямщиков. Эту статью дохода попечитель улуса потерял только в 1889 году, потому что она *понравилась* нойону и он постарался обратить ее в свою личную пользу.

Благословляли попечители улуса и пруса, истреблявшего корм и хлеб на калмыцких степях. Всегда из года в год в конце мая и в июне месяце, когда прус бывает еще не на полете, попечитель улуса делал распоряжение об уничтожении его, для чего и приказывал собираться массам калмыков в местах появления пруса. Способ истребления пруса практиковался и практикуется до сих пор такой. Даются метлы и лопаты деревянные и железные; роется канава, и калмыки метлами подгоняют пруса к канаве, лопатами загребают в нее и затем закрывают землей. В тех же местах, где есть солома, таковая расстилается по земле, и на нее метлами же и лопатами загоняется тот же прус. Когда он в достаточном количестве соберется на разостланной соломе, ее зажигают. Кажется, все делается несложно, просто, не обременительно и без особенной затраты физического труда. Так кажется,— на самом же деле уничтожение пруса есть одна из тягчайших для калмыков повинностей. Во-первых, сгоняется почти все правоспособное в смысле физического труда население данного рода, в участке которого появился прус, а во-вторых, и самое главное, калмыкам во время работ по истреблению пруса решительно нечего есть, ''жить же на прусе'' приходится неделю и более. Объясним это последнее. По условиям ведения своего хозяйства калмыки летом питаются только молочной пищей; хлеба у них нет. Следовательно, идя на работу вдаль от хотона, они, если не желают быть голодными, должны забирать с собой все свое хозяйство, иначе говоря, кочевать вслед за двигающимся прусом, что, разумеется, невозможно. Но невозможно также и оставаться без пищи — поэтому во избежание голода они и покупают овец и коров, что как повседневная пища очень дорого обходится и не по средствам народу. Затем у калмыков нет ни бочек для возки воды, ни колодцев, из которых поблизости можно было бы брать воду, в силу чего им и приходится платить по два и более рублей в день за доставку воды. Все это вместе взятое заставляет бедняков выть волком во время работ по уничтожению пруса и искать средств так или иначе откупиться от пруса. Положим, Министерство государственных имуществ по представлению улусного управления через свое начальство ежегодно отпускало по нескольку тысяч рублей на расходы по истреблению пруса, но деньги эти расходовались на приобретение орудий истребления, т. е. на покупку лопат и метел, и платилось только по 20 копеек в день взрослому и по 10 копеек малолетку, да и то деньги выдавались не во время производства работ, когда они действительно крайне нужны, а в долг спустя, иногда даже зимой. В настоящее же время главный пристав почему-то счел необходимым уничтожение пруса обратить в натуральную повинность, без

всякой поденной за то платы из калмыцкого общественного капитала, и тем самым лишил калмыков и тех крох, за кои они в надежде расплаты по получении заработанных денег могли покупать в долг чай и часть мяса. Лишение заработной платы сделало то, что ''бить пруса'' стало для калмыков самой тяжкой каторжной работой. Если в силу этого распоряжения чины улусного управления и потеряли кое-что, то зато калмыкам наделась мертвая петля.

Еще хуже пруса для калмыков чума на рогатом скоте. Вопрос о мерах прекращения чумы в калмыцкой степи весьма сложен и важен, и нам очень жаль, что в настоящем очерке мы не имеем возможности рассмотреть его подробно и поневоле, дабы не расширять настоящего очерка, должны ограничиться указанием только на то, как улусная администрация и калмыки относятся к ней. Дело в том, что по требованию ветеринарных врачей, требованию, основанному на узком знании своей книжной специальности, почему и игнорирующему местные условия борьбы с чумой, улусная администрация, дабы получить похвалу начальства, что называется *жмет* калмыков, не принимая от них ничего ''в резон''. Вся суть ветеринарных мер к прекращению чумной эпизоотии сводится к изоляции больного скота от здорового. Имеющийся в данном хотоне скот сбивается в два-три стада: 1) здоровых, 2) подозрительных и 3) явно чумных. Для подозрительных и явно чумных устраиваются базы, и ветеринар ежедневно термометрирует скот. Дело же улусной полиции состоит в содействии ветеринару применять к скоту изоляционные меры, составлять протоколы о появлении болезни, ''сгонять'' народ на работы по требованию ветеринара,— вообще исполнять ''все законные требования'' последнего и привлекать к ответственности нарушителей их.

Опять-таки и в деле ''уничтожения чумы'', как и в деле ''пруса'', все кажется несложным и удобоисполнимым. В действительности же все до того сложно, трудно, перепутано и подчас трагикомично, что калмыкам решительно не под силу исполнять ''законные требования'' ветеринаров, тем более, что народ ясно видит практическую непригодность предпринимаемых мер, неумелость самих ветеринаров и их бессмысленную придирчивость и в связи с этим убежден, и не без основания на то, что собственные, чисто народные, добытые вековым опытом способы изоляции скота гораздо полезнее, разумнее и проще практикуемых ветеринарами,— в большинстве педантичными, казенно и притом узко-формальными в применении к делу своих, лишенных

опыта и практической сметки, ветеринарных знаний[1]. В этом именно и заключается решение вопроса о причинах роковых недоразумений между населением и ветеринарами, влекущих за собой не только сильный ропот и страстную ненависть к *глухим* формалистам, но и более активное высказывание своих чувств к ним; недоразумения эти еще более усиливаются от того, что народ воочию убеждается, что ветеринары положительно менее его сведущи в деле практически разумного применения карантинных мер и ровно никакого внимания не хотят обращать на местные благоприятные для изоляции условия и являются не практиками, а учениками, верными своим учебникам, не вносящими никакой личной инициативы в дело борьбы с чумой; народ видит, что даже причины появлениям и распространения чумы *изучаются ветеринарами по полицейским протоколам*, и затем дальнейшая деятельность их ограничивается только вставкой больному и здоровому скоту термометров; да и за последнее ''скотские врачи'' принялись в силу настойчивого распоряжения о том г. ставропольского губернатора. Между тем чума в степях Ставропольской губернии существует искони. Калмыки как тоже исконные скотоводы хорошо ее изучили и не менее ветеринаров понимают всю важность изоляции больного скота от здорового. Устраивают же они ее так. Заметив болезнь на скоте, сейчас же отделяют больных от здоровых. Первых отгоняют в низ балок, расположенных в глуби степи, а вторых в верховья, причем избираются балки, расположенные так, чтобы ложе их было за ветром, а не против ветра, дабы последним не заносилась чума в здоровые стада. Внизу же балок располагают больной скот потому, чтобы сточной водой,— наружной и подпочвенной — не заразить водоносов. Павших животных калмыки нимало не медля обдирают, варят мясо и едят, но тем самым не разносят заразы, ибо и ветеринары признают, что прокипяченное мясо не содержит в себе чумных бактерий. Кожи также не ввозятся в хотон, пока не признаются безвредными. Затем по прекращении чумы оставшийся в живых скот выдерживает сорокадневный карантин и затем уже вгоняется в обычные места пастбищ и в хотоны. Кажется, калмыки делают все как следует и в своих мерах борьбы с эпизоотией не идут вразрез с требованиями ветеринарии, тем более, что ненаселенная степь с ее укромными уголками дает калмыкам полную возможность изолировать заболевший скот, к чему собственно и сводятся

[1] Мы говорим о тех ветеринарах, с деятельностью которых в Ставропольской губернии хорошо знакомы.

все требования ветеринаров при ''борьбе с чумой''. Так нет же, в ветеринарных учебниках ничего не сказано о калмыцком способе ''прекращения чумы на рогатом скоте''. Значит, ''нужно его похерить''. Условия же жизни калмыков таковы, что им нет возможности в точности, даже относительной, исполнять требования ветеринаров и улусной полиции относительно изоляции скота по учебникам и полицейскому уставу. Во-первых, у них не из чего строить загородей для загона скота. Лес в степи чрезвычайно дорог, денег же на покупку нет, ибо таковые у них отобраны распоряжением главного пристава о взносе арендной платы в улусное управление. Чтобы израсходовать из них хоть копейку, нужно, как мы уже знаем, сначала просить о разрешении схода, затем получить разрешение, ждать, пока оно через четырнадцать дней войдет в законную силу, потом собрать сход, написать приговор, отослать в улусное управление, подождать утверждения главного пристава, и тогда уже, по крайней мере месяца через полтора, получить деньги на расходы, т. е. ко времени, когда весь скот погибнет от чумы и будет составлено десяток, а то и более протоколов о привлечении к ответственности *за неисполнение законных требований ветеринаров и непринятие своевременных мер к прекращению чумы...* Во-вторых, по требованию ветеринаров, *скот ежедневно утром должен быть привязан к паколам для термометрации его.* Легко требовать этого, исполнить же подчас физически невозможно. Веревок нет, паколов тоже; но это еще не беда, если бы скот у калмыков *был домашний,* а не дикий, никогда не знающий, что такое загон, ярмо, веревка для рогов и пр... Такой скот еще кое-как с трудом и усилиями многих людей можно загнать в загородь, но ловить его, привязывать или, вернее, прикручивать головой к столбу и держать за хвост во время термометрации — настоящее мучение, сопряженное даже с опасностью для жизни. Перепуганная скотина до того рвется и мечется, что сравнительно плохую корову еле-еле могут поймать и привязать к столбу человек пять-шесть калмыков, о быках же и бугаях нечего и говорить,— не только люди, но и верховые лошади замучиваются, гоняясь за ними в степи. — Словом, мучение для всех невероятное, особенно в летние знойные дни, когда воздух раскален и жара невыносима. Одни только ветеринары, стоя под зонтиками, иронизируют на счет неумения калмыков сразу поймать разъяренную скотину и глубокомысленно решают вопрос: *''как же они воруют из стада, если здесь так неловки?.*

Понятно, что при таком способе приготовления скота к термометрации, когда о спокойном его состоянии (только и возможном для измерения действительного состояния температуры животного),— не может быть и речи, правильность отделения

здоровых от больных посредством определения температуры организма более чем сомнительна. Самый здоровый бык или корова, напуганная, возбужденная гонкой и страхом, всегда имеет выше тридцати семи градусов теплоты и редко ниже 40°. Имея же показателем такую высокую температуру, ветеринары большинство здоровой скотины причисляют к заболевающим, держат в базах или отдельных стадах, а если есть разрешение убивать, то немедленно же и убивают. При этом при оценке убиваемого скота ветеринары, воображая, что стоят ''на страже интересов казны'',— просто *смеются* над калмыками. Другого слова, как *''смеются''*, я не могу подыскать для определения побуждений ветеринара или попечителя улуса, оценивающего корову в *одну копейку,* а это факт, многим в улусе известный. Все это вместе взятое, т. е. чума и в связи с ней ветеринары и попечители улусов, заставляет калмыков *искать всяческих способов скрыть чуму,* самим бороться с ней и заявлять о ней тогда, когда она уже на *''исходе''*, т. е. когда новых заболеваний среди животных не предвидится. Дабы не иметь дела с ветеринарно-полицейской заботливостью о ''благополучии скота от чумы'', калмыки и даже русские скотоводы, выпасывающие свой скот на калмыцкой степи, практикуют даже такую крайнюю меру, как умышленное распространение чумной заразы между всеми стадами зараз. Для этого обдирают кожу павшего от чумы животного, намазывают ее солью, перемешанной с кровью, и дают лизать здоровому скоту, который от этого быстро и заражается чумой. Из зараженного таким способом скота падает в общем не более тридцати процентов, остальной же выздоравливает. Затем, когда чума начнет прекращаться, хозяева скота, если не могут избежать огласки распространения эпизоотии в их стадах, дабы избежать ответственности за ''скрытие чумы'',— по необходимости заявляют улусному управлению о *появлении чумы.* В результате свидетельствования по таким заявлениям ветеринарами скота почти всегда является донесение, что у такого-то ''скот заражен чумой в слабой форме''. Суть же дела остается скрытой...

Не менее тяжела для калмыков и обязанность натурой отбывать ''карантинную повинность''. Тяжела же опять-таки потому, что калмык, оторванный на более или менее продолжительный срок от кибитки, по условиям своего хозяйства, обрекается на голод. В его хозяйстве нет продуктов, кои он мог бы брать с собой, отлучаясь из дому. И поневоле приходится ему брать с проезжих через карантин хлеб, сухари, гроши и пр., иначе он умер бы с голода. Понятно, что находясь в таком положении, калмык как карантинный стражник не только не полезен, но прямо вреден. Ранее, когда главный пристав не запрещал калмыкам лично

пользоваться доходами с земли, карантинные стражники получали от общества определенное жалованье — до пятнадцати рублей в месяц — на которое и могли существовать, находясь вне своей кибитки. Теперь же у них нет к тому возможности, почему они в сильной степени и злоупотребляют правом пропуска через карантин до всего того, что способствует не прекращению, а развитию чумы, за что, разумеется, *и платятся.*

Но самой настоящей дойной коровой для попечителей улуса и вообще улусной администрации служили арендаторы калмыцкой степи. Помимо ''платы'' за свидетельствование контрактов и невмешательство в сделки с калмыками, арендаторы не только платили ежегодный ''оброк'' за разные содействия, но являлись еще, как характерно выражаются местные обыватели, ''поставщиками дворов из степных высокоблагородий'', т. е. во время поездок в г. Ростов-на-Дону привозили оттуда все, что ''нужно было по дому''. Предлогов же и поводов к ''восприятию даров'' было много — и чума, и безбилетные рабочие, и отправка ''непокорных из них'' по этапу, и ''прихват'' земельки в большем, чем сказано в контракте, количестве и пр. и пр. Для улусной же администрации ''всякое даяние было благо и всяк дар совершен''...

Итак, улусная администрация ни в коей мере и ни в каком отношении не ограждала интересов калмыцкого населения и не служила, как то следовало бы, противовесом склонности нойонов к эксплуатации подвластного им народа, а заботилась только о приумножении личных своих статей дохода. Если же со стороны, так сказать, чисто экономической попечители соблюдали только свои выгоды, то, быть может, они заботились так или иначе о развитии народа, старались сблизить калмыков с русским населением, приохочивали кочевников к занятию земледелием, к оседлой жизни и ''способствовали усвоению народом русского быта''? Отнюдь нет...

Положим, в Больше-Дербетском улусе есть школа для калмыцких детей. Существует она уже давно. В период нашего знакомства с ней обучение в ней шло недурно и велось опытным в своем деле учителем. Несмотря на это, она все-таки положительно бесполезна для калмыков, существует точно какой-то придаток к канцелярии улусного управления и ни в какой мере не удовлетворяет желанию народа обучать своих детей. Суть в том, что ''улусная школа для калмыцких детей'' находится *не в улусе,* т. е. не среди калмыцких поселений, как то следовало бы, *а в селе Ивановке,* т. е. совершенно вдали от хотонов, почему и является уродливым продолжением канцелярии попечителя улуса и помещается в одной с нею квартире.

Условия существования калмыцкой школы таковы: на содержание ее с учителем и наймом квартиры тратится более тысячи рублей в год. В счет этой суммы входит и плата десяти пансионерам, по пяти рублей в месяц за учебное время, которые и выдаются учителю для расплаты с хозяевами квартир, в коих ученики помещаются и кормятся. Из этих же пяти рублей должна быть соблюдена и экономия на покупку белья и обуви.

Весь расход на школу покрывается из процентов калмыцкого общественного капитала. Расход же этот настолько значителен, что калмыцкая народная школа, по-видимому, должна быть вполне обеспечена и не нуждаться ни в выборе учителя, ни в учебных и педагогических пособиях. Так оно и есть в действительности, и школа эта была бы, как говорится, битком набита калмыцкими детьми, если бы она помещалась не в селе Ивановке, а где-либо среди калмыцких жилищ. Существование же школы не на своем месте положительно лишает калмыков возможности пользоваться ее услугами, что вполне и понятно. Во-первых, для обучения в ней детей нужны средства на наем квартиры, таковых же у обнищалых калмыков нет, по крайней мере у значительного большинства; во-вторых, отдаленность местопребывания школы в значительной степени расхолаживает желание калмыков отдавать своих детей ''в школьную учебу''. В силу этих-то главных причин в улусной школе из года в год учится только десять мальчиков, единственно благодаря тому, что они получают по пяти рублей в месяц. Кроме же стипендиатов, других учеников нет и не было, и школа совершенно опустела бы, если бы уничтожены были стипендии... В то же время совсем другое было бы дело, если бы школа существовала в улусе где-либо среди калмыцких жилищ. Своих детей калмыки очень охотно обучают грамоте, понимают пользу ее и сознательно ропщут на волю начальства, de facto лишившего их возможности пользоваться улусной школой... Но на ропот их никто ровно никакого внимания не обращал. Мало этого,— настоятельное желание калмыков перевести школу из села Ивановки в центр своих поселений беспричинно игнорируется. Так, еще в 1891 году на улусном сходе по собственной инициативе калмыков и по их настойчивому требованию составлен был общественный приговор о постройке училища внутри стойбищ; но приговору этому ''не дали хода'', и он где-то завалялся между деловыми бумагами. Приговором этим, очевидно, кто-то недоволен и почему-то (быть может в видах высших каких-либо административных соображений) тормозит дело перенесения школы в то место, где ей давным-давно следовало бы быть. Но почему именно главный пристав держит приговор о школе на своем письменном столе, трудно и даже невозможно понять... Не понимают этого и также удивляются и калмыки и терпеливо ждут конца ''разъясне-

ний недоразумения'', а вслед за этим и осуществления своего насущного и во всех отношениях законного желания иметь свою школу у себя, а не в селе за несколько десятков верст от своих кочевий.

Насколько трудно калмыкам отдавать своих детей в существующую школу, между прочим, безошибочно можно судить и по тому, что даже и те *десять* счастливцев, кои получают по пяти рублей в месяц, поступают в училище не путем добровольной отдачи в него родителями своих детей, а *в силу попечительских приказов.* Последнего отнюдь не могло бы случиться, если бы школа существовала в улусе, а не в селе... И нет ничего удивительного, что в Ивановской школе, дабы иметь всегда ''полный комплект учеников'', *т. е. десять,* одни и те же школяры так или иначе ''удерживаются в классах'' но нескольку лет подряд без всякой к тому нужды в смысле успехов обучения; случается и так, что обучение в школе прекращается только женитьбой ученика. За все время существования школы в с. Ивановке, насколько мне известно, только три ее ученика *были особо приготовлены в* Уладовскую учительскую семинарию, один и Тифлисскую Михайловскую фельдшерскую школу и три в Ставропольское духовное училище. Случилось это потому, что нужно же было, хотя изредка, посылать учеников на стипендии, ежегодно взносимые калмыками в эти учебные заведения, исключая духовного училища, в которое присланы были ''калмычата'' *по особенному желанию* бывшего ставропольского епископа Германа. К слову сказать, все эти стипендиаты окончили курс тех учебных заведений, в кои были отданы. Два из них были потом, хотя и кратковременно, учителями в улусной школе. Но их не сумели и не захотели ни приохотить к службе, ни удержать на ней. Напротив — пренебрежительным отношением к ним как калмыкам, отношением с высоты своего начальнического величия оттолкнули от школы. После учительства один из них и до сих пор служит родовым старшиной, а другой был родовым же писарем.

Если же в улусной школе таково количество обучающихся, то понятно, что не может быть и речи о влиянии этой школы на калмыцкое население, равно и о развитии русской грамотности среди него. В этом отношении значение училища сводится к нулю, и нет ничего удивительного, что калмык, вышедший из него, пишет не ''квитанция'', а ''капитанция''... Совсем иначе поставлено дело обучения калмыцких детей их родной грамоте. Знающих ее очень значительный процент. Мы не ошибемся, если скажем, что половина населения улуса знает калмыцкую грамоту. Объясняется это тем, что при каждом хуруле есть школа, в которой гэлюны (духовные лица) охотно и безвозмездно обучают калмыцких детей

грамоте. Не лишне заметить и то, что школы эти существуют вне закона, и официальные лица пока не касаются их.

Итак, ''школьное дело'' среди калмыков не развивается, а напротив,— как будто бы тормозится. Следовательно, мы считаем себя вправе заметить, что забота о развитии грамотности, а в связи с нею и о просвещении калмыцкого народа по меньшей мере игнорируется попечителями улуса и их начальством...

Не в лучшем положении находится и забота администрации о ''приохочивании'' калмыков к занятию земледелием.

Мы уже упоминали, что калмыки Больше-Дербетского улуса едва только ступили на путь земледельческой культуры и к обработке земли пока еще не имеют ни навыка, ни особенной охоты, ни средств, ни самого необходимого сельскохозяйственного инвентаря. У массы населения нет ни плугов, ни борон, ни быков или же лошадей, приученных к плугу. Калмыцкие же культуртрегеры, начиная с попечителя улуса и кончая главным приставом, на все это не обращают решительно никакого внимания, не признают никакой постепенности в деле обучения земледельческому труду, ухватились за ''общественные запашки'', как за нечто красивое и громкое на страницах разных отчетов и всячески стараются о создании таких ''запашек''. К счастью, хлопоты о создании общественных запашек ограничиваются пока еще чисто канцелярской перепиской, почему и безжизненны, и безрезультатны. Обыкновенно осенью и весной перед началом пахотьбы пишутся родовым старшинам *строжайшие приказы* ''распахать не менее пятнадцати десятин земли''..., ''иначе привлечены будете к законной и строгой ответственности''.., и ... делу конец. Но как распахать, чем обсеменить... этого как малозначащего дела в глазах попечителя улуса и главного пристава никто не касается. Насколько же трудно калмыцкому народу исполнять такие ''строжайшие приказы'', можно судить, между прочим, уже по одному тому, что калмыки, дабы избавиться от ''строгой ответственности по закону'' за неисполнение требования ''произвести общественную запашку'', не имея никакой возможности произвести ее своими силами, нанимают русских и за распашку земли и посев хлеба платят им втридорога. Местные власти знают это, но ''не обнаруживают'', что собранный с такой ''общественной запашки'' хлеб обходится калмыкам более, чем в пять раз дороже против существующей цены, ибо он убирается и молотится также наемными руками. Отсюда понятно, что такие ''общественные запашки'' ложатся тяжелым бременем на калмыков, являются одной из тягчайших ''натуральных повинностей'', причиняют несомненные убытки и, что главное, отвращают народ от плуга, ибо каждый из боязни, что как общественника его заставят пахать ''на общес-

твенной пиве'', не решается обзавестись собственным плугом и бороной, а норовит войти в соглашение с крестьянином даже на самых убыточных для себя началах, но лишь бы его руками и скотом обработать свой пай, т. е. клочок земли. Впоследствии мы увидим, что попечители улуса разными своими распоряжениями, побуждающими калмыков к занятию земледелием, скорее убивают, а не развивают земледельческую культуру среди опекаемого ими народа и в сильной степени замедляют усвоение калмыками русского быта и связанную с ним перемену образа жизни. И если калмыцкий народ действительно находится накануне преобразования гражданского своего строя, то таковое должно начаться с корня, т. е. с радикальной реформы инородческого управления, целым столетием доказавшего и притом вполне всю практическую свою непригодность для народа... В настоящее время управление калмыцким народом среди общих наших административных управлений представляет какую-то археологическую редкость, сохранять обособленность которой равносильно обречению калмыков на верный измор и в нравственном, и в экономическом отношении. До сих пор калмыки пока чужды страсти к кляузничеству, но упорное преследование и стеснение их прав распоряжаться землей и пользоваться доходами с нее вынуждает уже заниматься и этим делом. А жаль! путь кляузничества скользок... Но что же делать? Дитя не плачет — мать не разумеет... Не может же быть, чтобы калмыки вотще надеялись на то, что плач их будет услышан...

VI.

Рассмотрим теперь юридические права калмыков на занимаемую ими землю, способы пользования ею и последствия вмешательства главного пристава и попечителя улуса в права народа на пользование своими земельными наделами.

Известно, что в 1771 году калмыки, не желая подчиниться вмешательству русских в их жизнь и административный строй управления, под предводительством *Убуши*-хана вздумали убежать, как выразился г. Завалишин, в ''Великую Татарию'', т. е. в Монголию. Но снявшаяся с приволжских степных кочевий орда не вся достигла пределов Монголии; часть ее возвратилась на прежние места и возбудила вопрос о своем праве на владение теми же землями, на которых привольно кочевала до ухода из России. На основании этого ходатайства в 1780 году последовало правительственное распоряжение, коим повелевалось ''отвесть калмыкам все те земли, на которых до ухода их в Китайскую Империю

предки их имели кочевье''. Получив такое распоряжение, местная, т. е. астраханская администрация затруднилась выполнить его потому, что калмыкам с точностью никогда отвода земель делаемо не было, что на многих из этих земель поселились уже казенные и помещичьи крестьяне и что без разорения тех селений отвести калмыкам прежние земли невозможно. Причины эти, выставленные астраханским начальством, петербургским властям показались удовлетворительными и заслуживающими внимания, в силу чего указом 12 июня 1803 года и поручено было астраханскому губернатору, князю Цицианову, ''обозреть через особого чиновника земли, занимаемые кочевьями калмыков и представить о них подробные сведения''[1].

Обозрением калмыцкой степи, по счастливому выбору князя Цицианова, занимался генерал-майор Завалишин.

В результате исследования Завалишина оказались настолько важными, что всцело на основании их издано было 19 мая 1806 года Высочайше утвержденное положение об отводе калмыкам земель. Самые же исследования и ''предположения'' г. Завалишина вошли в состав Полного Собрания Законов в виде приложения к указу 1806 года[2].

Таким образом, указ 1806 года был первым *известным* правительственным актом в деле признания и упорядочения прав калмыцкого народа на кочевья его в *известных* пределах обширнейшего нашего приволжского степного пространства.

Из положения 19 мая 1806 года видно, между прочим, что, обеспечивая права калмыков на кочевку *в известных* границах степного пространства, правительство в то же время и тем же положением, однако, не дало им *права* на неотъемлемое, исключительное владение землей, отведенной под кочевья. Напротив, оно в ясно выраженной форме только *дозволяло* калмыкам Дербетского улуса кочевать в указанных ими местах, но не присваивало им прав собственности на эти места. Мало этого,— и самое дозволение было, так сказать, с не вполне милостивым ограничением. Так, пунктом 7 и 8 положения 1806 года калмыкам запрещалось, между прочим, *кочевать близ реки Ягурлыка* (Ставропольской губернии) *на местах, удобных для поселения и изобилующих водопоями, равно и быть всегда готовыми к уступке земли на случай необходимости наградить ею кого-либо по*

---

[1] Сведения эти заимствованы из Пол. Соб. Зак. Т. 1, 2 и 4.

[2] Заметка г. Завалишина представляет из себя весьма ценный материал по истории первоначального пребывания калмыков в приволжских степях.

высшему усмотрению. Иными словами, дозволялось кочевать везде, но только на худших местах и в то же время не забывать, что во всякое данное время кочевники могут быть согнаны со своих стойбищ даже без предварения о том; последнее для калмыков как кочевого народа считалось, по-видимому, излишним. Но выходцам из ''Великой Татарии'', калмыкам как номадам, чуждым понятия о земледельческой культуре, при изобилии свободного степного пространства не было нужды заботиться ни об устранении ограничений прав на землю, ни о закреплении прав на пользование ею. Свободной, никем не занятой земли была масса, вольным перекочевкам по всей громаднейшей степи Астраханской губернии никто не мешал, приволье было полное, и о стеснениях в выборе мест для стойбищ не могло быть и речи, почему ни у кого из калмыков и не могло зародиться вопроса о закрепощении земли и о недопущении в пределы кочевий иных каких-либо, кроме калмыцких, поселений. Вследствие того же, что земли для кочевок было более, чем вдоволь, калмыки в первое время наплыва крестьян в их степи и захвата ими земель под свои поселения не обращали серьезного на то внимания, на вырастающие поселения крестьян смотрели со страхом и, не зная цены земле, не защищали своих прав на нее. Будучи исконными кочевниками, калмыки, так сказать, временно ценили землю — только в пору ее пригодности для выпаса скота, табунов лошадей и овец. По вытравлении же корма земля в их глазах теряла всякую ценность. Вытравив корм на одном месте, калмыки переходили со своим скотом на другое, разойтись же было где и затруднений к перекочевкам не существовало. Все хозяйство номадов приволжских степей состояло из скота, овец, лошадей и верблюдов. Все постройки кочевника ограничивались немудрой по своему устройству войлочной кибиткой, в которой он укрывался со своей семьей. Затем ни о каких загородях, загонах, запасах сена для своего скота калмык не заботился. Климатические условия степной части Ставропольской губернии вполне благоприятствовали патриархальному способу ведения скотоводства. Только в декабре и январе являлись некоторые затруднения для прокорма скота, который в эту пору с трудом и кое-как мог пользоваться подножным кормом. Вообще же зимы бывают бесснежны, и резкие сильные холода случаются редко, периодически, и держатся непродолжительное время, хотя пора их и гибельна для скота. Но в пору холодов и степных буранов калмыки из открытой степи забирались со своим скотом в камыши, обильно росшие в лиманах, известных под именем *Большого* и *Малого Бурукшуна,* затем по рекам: Манычу, Ягурлыку, Калаусу, Башанте, Большой Джалге и др. Кстати заметим, что эти громадные заросли камыша теперь совершенно исчезли, и

только по р. Манычу еще кое-где попадаются жалкие остатки их. В таких затишьях, как заросли камыша, скот с удобством защищался от вьюг, буранов и других зимних невзгод. Словом, калмыки как кочевники по условиям ведения своего хозяйства не только не нуждались в одном каком-нибудь определенном клочке земли, но не имели и возможности постоянно жить на одном и том же месте, вследствие чего у них как истых номадов не было ни привязанности к месту, ни понятия о правах собственности на одно определенное какое-либо место, как то есть у земледельцев. В калмыцкой поговорке: ''где развел огонь, там и жилище; где привязал коня, там и пастбище'' весьма ярко и точно выразился взгляд народа на права собственности на землю и его привязанность к известному месту. Калмык привязан только вообще к месту родины всего *своего рода* и племени, почему он и до сих пор еще считает Монголию *своей землей* и своими помыслами тяготеет к ней.

При таком взгляде на права земельной собственности понятно, что калмыки не считали нужным дорожить теми окраинами своих степных просторов кочевий, кои захватывались крестьянами — выходцами под свои поселения. С течением времени, когда наплыв переселенцев в вольные степи не только захватил окраины ее, но проник и внутрь калмыцких стойбищ и заставил кочевников сжаться, особенно в пределах Ставропольской губернии, калмыки начали ''разбираться'' в своих правах на землю и принялись усиленно ходатайствовать об ограждении своих кочевий от вторжения в них крестьянских поселений, равно и о выяснении, как и чем они могут пользоваться из числа занимаемой ими земли. Этот земельный вопрос, как мы уже знаем, окончился только в 1871 году, когда более или менее положительно выяснены были права калмыков на известные земельные дачи и составлены генеральные планы последних, благодаря чему у калмыков явилась возможность с планом в руках во всякое данное время восстановлять границы своих владений на случай захвата кем-либо части их.

Как и с какой выгодой для калмыков произведено было размежевание земли, мы уже знаем (гл. II). Остается только сказать, что разверстка остатков калмыцкой степи между населением Больше-Дербетского улуса, оконченная в 1871 году, была вторым после 1806 года определенным и важным правительственным актом в деле выяснения и оформления прав калмыцкого народа на занимаемую им землю. Но и этот акт, точно так же, как и первый, не дал калмыкам владельческих прав даже на душевой земельный надел, оставив таковой только во временном пользовании. Объяснить это можно тем, что положение 1806 года, установившее условность и временность прав калмыков на землю, занятую их кочевьями, всецело перешло потом и в *''Положение об*

управлении калмыцким народом'', изданное в 1847 году, служащее и до настоящего времени единственным руководящим законом в деле административного управления калмыками и определения их прав и привилегий. Этим положением категорически, между прочим, определено, что вся земля, занимаемая калмыками под их кочевья, считается принадлежащей Министерству Государственных Имуществ, *калмыкам же она отводится только во временное пользование, без прав собственности на нее.* Очевидно, что и по положению 1847 года, как и по первому, т. е. 1806 года, калмыки должны были всегда быть готовыми к оставлению тех или других мест своих кочевий, раз в них под тем или другим предлогом являлась нужда, что народу с большими неудобствами и потерями постоянно и приходилось испытывать вплоть до 1871 года. Мы уже говорили, что за этот период времени калмыки волей-неволей должны были уступить более трех четвертей своих кочевий на разные и разных лиц и сословий надобности без разбора прав на захват земель. Положим, и акт 1871 года также не дал калмыкам владельческих прав на землю, отведенную им в виде душевого надела, но все-таки этим актом сделан весьма важный шаг вперед в деле приобретения народом прав собственности на душевой надел на общинных началах. Такое предположение с уверенностью можно основывать на том, что с 1871 года земля отведена была калмыкам уже *не под их кочевья,* как то было ранее, *а под оседлые поселения* со строгим и точным разграничением земельных дач для каждого отдельного рода, а не сплошь для всего населения Больше-Дербетского улуса, равно и с точным же обозначением количества душевого надела, именно по тридцати десятин на каждую мужскую душу. Отсюда ясно, что раз калмыки поселятся оседло на одном каком-нибудь определенном месте в пределах отведенных им участков, то отведенная уже и занятая ими земля во имя справедливости не будет и не должна уже *считаться только во временном пользовании калмыков.* Напротив, Министерство Государственных Имуществ, наверное, отчислит ''калмыцкие дачи'' в собственность этого народа на тех же основаниях, на коих оно до сих пор отчисляло принадлежащую ему землю разным крестьянским обществам. Затем вслед за уступкой земли, хотя бы и в общественную собственность, калмыки, естественно, должны будут перейти из ведомства Министерства Государственных Имуществ в ведомство Министерства Внутренних Дел на общем основании с прочими ''свободными сельскими обывателями''. Но все это ожидается в будущем, хотя, нужно полагать, и недалеком. Теперь же важно уже и то, что, благодаря отводу земли под оседлое поселение, калмыки тем самым более или менее определенно застрахованы от необходимости ''быть

всегда готовыми к оставлению мест своих кочевий'', равно и от запрещения селиться там, где есть ''удобные места для пастбищ и изобилующие водопоями места''. В противном случае пришлось бы разорять народ, недавно начавший кое-как оседло устраиваться на излюбленных им местах, что, разумеется, не может быть допущено, как не допускалось даже и по отношению к крестьянам, с 1771 года занявшим калмыцкие земли по уходе части орды в Монголию, не допускалось потом и во все последующее время, даже несмотря на самовольный захват переселенцами чужой земли. В настоящее время калмыкам остается сделать еще один решительный шаг, именно — прочно обоседлиться на одном месте, заняться земледелием, и тогда земля, находящаяся теперь во временном их пользовании, наверное отчислится в их собственность.

Последнее соображение высказывается потому, что часто и всегда весьма неосторожно официальные лица, а вслед за ними и другие выставляют на вид калмыкам, что земля не их, что им только позволяют временно пользоваться ею впредь до усмотрения начальства и что потому они, калмыки, не имеют права распоряжаться ею по своему произволу, извлекать из нее самостоятельно доходы и входить даже в мельчайшие сделки с крестьянами относительно обработки с доли или за деньги *''даже пяди, даже ступни на десятине''*...

Все такие и им подобные ''разъяснения прав калмыков на отведенную им землю'', основанные на личных соображениях и выводах калмыцкого начальства, не только, как мы уже сказали, неосторожны, но и прямо вредны по своим последствиям. Вредны потому, что, исходя из сравнительно авторитетного источника, в сильной степени расхолаживают желание калмыков прочно и порядком селиться на одном определенном месте и тем окончательно обоседлиться. Боязнь, что их сгонят, что им укажут место не по их желанию, а по выбору улусной администрации, что ''рассуют их между крестьянами'', заставляет калмыков селиться кое-как, кучками, разбросанно, не обставляя своих жилищ необходимыми сельскохозяйственными пристройками. В силу той же неуверенности в праве облюбовывать место для ''осадьбы'' калмыки даже к постройке изб приступают всегда нерешительно и осторожно, ибо у народа отнята уверенность в том, что они собственники земли и не зависят от каприза... Что ''дачи'' урежут, в том успели уже уверить калмыков, хотя у уверявших в том не было положительно никаких к тому оснований, кроме личных недоброжелательных, чтобы не сказать более, соображений... Соображения же эти вызывались, между прочим, желанием показать калмыкам все их бесправие, зависимость от власть имущих и

заставить чрез посредство застращивания делать то, что им велят. Но такие стремления достигали как раз обратных результатов, т. е. калмыки всячески противились выполнять начальнические предписания. И если бы не сама действительность, с ее ничем неустранимым требованием хлеба и одежды, коих обнищалым калмыкам негде взять, так как скотоводство и овцеводство окончательно пало, о коневодстве же сохранились только предания,— то администрация излюбленными ею способами не заставила бы народ забыть про невозвратное прошлое кочевой жизни; калмыки и до сих пор остались бы кочевниками и переход их к другому образу жизни и занятиям не подвинулся бы ни на шаг вперед... Только нищета пригнула калмыков к земле, и если бы их перестали ''обучать'', то они несравненно охотнее взялись бы за плуг и борону. Верным доказательством последнего могут служить родичи калмыков — *Сибирские Буряты.* Их никто не принуждал к оседлой жизни и занятию земледелием; между тем в Иркутской губернии, исключая части Тункинского края, именно кочевий по вершинам Саянского хребта (Мондинский, Гарганский и Окинский караул), нет ни одного бурята, который бы зимой не жил в крестьянской избе, окруженной амбарами и сараями, и не занимался бы земледелием со знанием дела и с таким же усердием, как и крестьянское соседнее с ним население, причем количество обсеменяемых бурятами полей по разверстке на души ничуть не меньше, чем у крестьян. Но в тридцатых годах текущего столетия местной администрации вздумалось заставить бурят ''разводить картофель''. Энергии со стороны ''чинов'' была потрачена масса, завелась огромная переписка[1] но... но никто из бурят не хотел взяться за посадку картофеля. Делу не помогли ни угрозы, ни приведение их в исполнение, ни приманки в виде награждения золотыми и серебряными медалями и почетными кафтанами... все хлопоты администрации привить картофельную культуру среди бурят не привели ни к чему, кроме ропота против вводителей и даже ''попыток к бунту''. Затем, когда властям наскучило, наконец, возиться с ''этим невежественным народом'' и ''картофельная культура'' потеряла прелесть повизны, ведущей к ''отличкам за усердное выполнение служебных обязанностей'', буряты, оставленные в покое, вскоре сами по своей воле начали садить и сеять *''ябала''*, т. е. картофель, и в огородах и в поле, между

[1] С перепиской о ''введении посева картофеля среди бурят'' мы знакомы по архиву Тункинской инородческой думы и отчасти Идинской (Балаганского округа).

посевами хлеба. В восьмидесятых годах же, как то лично известно нам, когда к воспоминаниям о *картофельной повинности''* буряты начали относиться уже не зло, а иронически, они разводили ''ябала'' (исковерканное русское слово ''яблоко'') в гораздо большем количестве, чем крестьяне-сибиряки. Для большей ясности дела не нужно забывать и того, что буряты никогда не были под чьей-либо особой опекой, у них не было ни попечителей, ни главных приставов, как то есть у калмыков; в их быт никто не вмешивался и они давно уже по собственной инициативе сделались оседлым и земледельческим народом. Калмыки же, несмотря на усиленную над ними опеку, и до сих пор еще полукочевой народ, и занятие земледелием у них только в зачаточной форме, хотя экономический их быт находится в гораздо худших условиях, чем у бурят. У последних есть и рыбная ловля, и звероловство, и масса скота,— следовательно, кроме земледелия есть из чего добывать средства к жизни, к тому же и более легким трудом, чем распашка земли. У калмыков же вслед за обнищанием, как последствием полного упадка скотоводства, кроме земли решительно не к чему приложить руки и не из чего извлекать доходы. Но как же с охотой прикладывать к земле руки, когда народ пугают тем, что она может быть при случае и отобрана от него? Не верить же этим запугиваниям нельзя, ибо в прошлом много и часто приходилось на опыте узнавать последствия непрочности своих прав на землю и уступать насиженные места разным пришельцам... Отсюда ясно, что если желают, чтобы калмыки сделались вполне оседлым народом и занялись бы земледелием, без чего они — погибший народ, то прежде всего и главнее всего следует закрепить за ними землю и дать им свободу распоряжаться ею на общинных началах, а затем немедленно же избавить народ от ненужной, но вредной опеки и слить его по его правам с крестьянским населением, дабы калмыки не только на бумаге, но и в действительности были бы ''свободными сельскими обывателями'', как они и наименованы в законе 15 марта 1892 года.

Но все-таки, если правительственный акт 1871 года и не дал калмыкам владельческих прав на землю, а оставил ее только в ''пользовании их'', то все-таки он важен для народа тем, что *земля отведена уже под оседлые поселения,* разграничена и разделена между отдельными родами, что имело весьма важные последствия в устройстве дальнейшего экономического быта большедербетцев и заставило их круто изменить строй своей жизни.

До 1871 года калмыки Больше-Дербетского улуса свободно перекочевывали с места на место в пределах отведенной им степи, и последняя не загромождалась хуторами арендаторов, потому что ее нельзя было отдавать отдельными участками в долгосрочную

аренду. Со времени же разверстки земли между отдельными калмыцкими родами и с ограничением количества ее расчетом по тридцати десятин на душу район кочевий поневоле должен был сузиться и войти в точно определенные границы без права выхода за них. Мало этого — калмыки потеряли право совместного пользования всей степью Больше-Дербетского улуса, каждый род начал пользоваться только землей своей дачи. Следовательно, прежнее раздолье и свобода кочевать по выбору миновали. Нужда заставила избирать определенные места для зимних стоянок и на них устраивать базы, т. е. затишья для скота от зимних вьюг и буранов. Возможность укрываться в камышах также миновала, ибо вслед за заселением калмыцкой земли и распашкой ее камыши начали быстро исчезать. Еще в начале семидесятых годов заросли камышей виднелись на многих лиманах и озерах, но затем из года в год они начали быстро исчезать. В настоящее время существование калмыцких притонов в камышах отошло уже в область маловероятных рассказов. Даже по прибрежьям реки Маныча, где прежде в камышах водились дикие кабаны, волки и лисицы, остались только жалкие клочки одиноко торчащих камышин. Вообще степь совершенно оголилась, уже истощена, не покрывается, как то было ранее, невылазной травой, и калмыкам волей-неволей приходится обоседливаться, браться за плуг и соху и устраивать базы для скота. А так как базы послужили основой оседлости калмыков, ячейкой будущих поселений, то и не безынтересно познакомиться с устройством их, тем более, что места, на которых они устроены, калмыки считают уже неотъемлемой своей собственностью и дорожат ими, как крестьяне своими усадьбами.

Известно, что население калмыцкой степи, как и вообще степной полосы Ставропольской губернии, совершенно лишенной древесной растительности, терпит большую нужду в лесном материале. Доставляется он или из Ростова-на-Дону, или же из г. Царицына, т. е. более чем за триста верст, почему ценится очень дорого, и не всегда его можно достать в желаемом количестве и желаемого сорта. Всякая палочка, обломок доски сберегается как нечто ценное и крайне необходимое в хозяйстве. Такой ощутительный недостаток в лесном материале заставил степняков изыскивать средства для замены его чем-либо другим, где к тому представляется хотя малейшая возможность. Материалом, во многих случаях с успехом заменяющим бревно и доски, оказался *саман,* т. е. сырцовый кирпич, затем просто грязь, образующаяся после дождей и смешанная с соломой, и *курай* (степной бурьян), в изобилии растущий на распаханных полях.

Саман как материал, сравнительно дорого стоящий и требующий искусства в приготовлении его, употребляется по преимуществу на постройку жилых помещений, и только зажиточные люди устраивают из него сараи и конюшни. Обыкновенно же стены для хозяйственных пристроек лепятся из дождевой грязи; загоны же для скота, называемые *базами,* делаются еще проще. Нужная для загона площадь окапывается более или менее глубоким рвом; края рва обкладываются кураем, причем, дабы курай плотнее слегался и стены из него были бы устойчивее, каждый слой его приваливают землей. У кого же есть в излишке солома, то таким же способом устраивают и из нее базы.

Устроенный так баз вышиной в сажень, если и остается открытым сверху, то все-таки как ''затишек'' служит хорошей защитой от зимних непогод. К тому же и устройство база, как видим, незатейливо, дешево и требует затраты только личного труда, материал же находится под рукой.

Постановленные в необходимость прекратить кочевку по всей степи со своим скотом и лишившись камышей как единственных зимних притонов, калмыки, как уже сказано, поневоле принялись за устройство базов. А так как баз все-таки не давался даром, а на устройство его нужно было затрачивать труд, то калмык, раз устроив баз, уже не только не бросает его, но и старается поддерживать и подновлять, чем и привязывается к месту устройства его, которое делается в силу затраты труда на него постоянным местом жительства бывшего кочевника.

Та же необходимость заставила калмыков пристраивать к базам и *огороды* для склада сена, которое также понадобилось им вслед за прикреплением кочевников к ограниченному клочку земли. Ранее, когда степь была ''свободна'', калмыкам легко было разыскивать подножный корм для скота не только летом, но и зимой. После ''душевого надела'', т. е. с 1871 года, и раздачи излишка земли в долгосрочную аренду не оставалось мест с невытравленным летом подножным кормом, так что зимой скот должен был или пропадать с голоду, или же кормиться заготовленным сеном. И опять-таки калмыкам пришлось поневоле взяться за косу и устраивать огороды. Устраивать же их еще легче, чем базы; стоит только выкопать широкий ров и обложить края его кураем — и огород готов.

Затем та же необходимость взаимопомощи, в свою очередь, заставила селиться не одиноко, а *хотонами,* т. е. группами кибиток, по преимуществу в местах зимних стойбищ. Эти-то *''зимние хотоны''* с базами, огородами и кое-где торчащими землянками и являются более или менее прочными зародышами будущих калмыцких поселений на *''русский лад''.*

Еще в начале восьмидесятых годов в Больше-Дербетском улусе можно было видеть близ зимовников одни только базы да огороды

без всяких других жилых помещений при них. В настоящее же время ''в зимовниках'' немало уже построено изб, хлевчиков, амбаров, саманных конюшен, есть даже и хорошие дома, как, например, упомянутого нами ранее Дордже Джембинова. Такие же поселения калмыков, как, например, в *Кердаше* Будурмисова и Кюбетова родов, видом своим походят на крестьянскую, хотя и крайне плохую деревушку,— плохую потому, что постройки в Кердаше, во-первых, крайне беспорядочно разбросаны вдоль балки, а во-вторых, они сделаны, очевидно, неумелыми руками,— все приземисты, косы и кривы, с подслеповатыми окнами, с низкими и узкими дверьми. Расположившись по краям балки, ''мазанки'' то скрываются среди базов и огородов, то одним каким-нибудь углом или боком выглядывают из-за них, то одиноко высовываются на улицу, став косо по отношению ко двору, то лепятся сбоку, то совсем в стороне от двора. Полное отсутствие симметрии и плана в расположении калмыцких поселений как бы говорит о том, что живущие в них люди впервые без навыка к делу вздумали обоседлиться, да и то как бы не совсем решительно, а с готовностью во всякое данное время сняться с места и оставить после себя кучи никуда негодной глины, соломы и курая. Впечатление как бы временности калмыцких поселений еще более усиливается от того, что за каждым ''двором'' или против него стоит кибитка не только летом, но даже и зимой. О неустойчивости вообще поселений собственно в калмыцкой степи в сильной степени свидетельствует также масса брошенных в разных уголках ее базов и огородов. Арендаторы калмыцкой земли, их ''скупщики'', ютящиеся целыми десятками близ хутора арендатора, по окончании срока найма земли, если вновь не берут почему-либо ''участка'', снимают со своих строений все ''дерево'' и оставляют одни саманные остовы разных построек, кои, размываясь дождем, образуют многочисленные кучи глины, мрачно свидетельствующие о бывшей *''осадьбе''*. В свою очередь и калмыки по многим причинам часто оставляют свои огороды и базы и вновь устраиваются на другом месте. Между рядом причин, заставляющих калмыков сниматься со старых пепелищ, особенно характерны следующие: 1) *оспа,* воплощая которую в злого духа *чичика,* степняки, раз она появилась в хотоне, уверены, что место расположения последнего излюбил чичик — и, чтобы избавиться от него, нужно оставлять хотон и искать более счастливого места, неведомого пока чичику, 2) *смерть детей в семье и вообще несчастья в жизни,* также приписываемые влиянию злого духа, хозяина данной местности, что и побуждает переселяться с места на место, 3) *близкое соседство русских поселений* гонит калмыков далее от черты их и 4) *административные распоряжения;* так, в

1890 году калмыки Икичунусова рода в числе около ста кибиток, т. е. семейств, по распоряжению властей должны были оставить свои стойбища с хатами, огородами и базами и вновь устраиваться на голой степи. Распоряжение это вызвано было тем, что их земля отведена была под поселение крещеных икичунусцев же. Положим, за хаты и сараи было заплачено по оценке, огороды же и базы ''пропали'' (т. е. пропали даром), как говорят калмыки. Затем нередко в случаях ''подозрения в усиленном воровстве'' начальство, ''дабы иметь более правильный дозор за ворами-калмыками'', *''сбивает их в кучу''*, т. е. назначает место для стойбища, в котором и заставляет жить всех калмыков данного рода, причем ничто не берется во внимание — ни дальность расстояния от воды, ни отсутствие подножного корма для скота, ни оставление построек без призора и проч., и проч. Мало этого — делается строгое распоряжение, чтобы калмыки до захода солнца были все налицо. Последнее особенно жестоко, так как лишает народ возможности поступать на поденные работы.

Все это вместе взятое, естественно, мало благоприятствует устойчивости поселений в калмыцкой степи. Даже и внутренняя обстановка жилищ говорит не о прочной ''домовитой'', оседлости хозяев их, а скорее о временности поселения в них, так сказать, бивуачности. В жилищах ничего нет такого, что бы показывало, что ''осадьба'' обстраивалась, если и не поколениями ''хозяйственных людей'', то по крайней мере с желанием и расчетом не сниматься с места, а обстраиваться и устраиваться и в дальнейшем, смотря по досугу и средствам. Не говоря уже о надворных постройках, и в самих калмыцких избах нет даже бедной крестьянской обстановки. Во внутренность жилищ перенесено все то, что было в кибитке, т. е. котел для варки пищи (вмазывается в припечек), деревянная кадушка для скопа молока, ящики для одежды, седло, потники (войлоки), носильное платье, кожи — вот и все, что можно найти в калмыцкой избе; нет нам ни ''лав'' (скамеек), ни столов, ни шкафчиков, ни полочек, ничего такого, что напоминало бы о кухонном хозяйстве даже плохой русской женщины. Затем и то немногое, что есть в избе, все беспорядочно разбросано и валяется, где и как попало, обличая полное неумение располагать вещи по своим местам, равно и пользоваться удобствами постоянного помещения,— уютности и жилищах нет и признака; полный беспорядок и всюду грязь и нечистота не делают их удобными и желательными приютами случайно попавшего в них человека,— напротив, производя тяжелое впечатление, заставляют избегать необходимости быть в таких избах хотя бы даже и короткое время. Ночевать же и просто тяжело — помимо смрада и тяжелого до удушья воздуха, в жилищах калмыков такая масса

вней, что свежему, непривычному человеку — не калмыку — нет физической возможности переносить нападение этих отвратительных паразитов... Если бы изба не служила зародышем основ будущего прочного поселения калмыков, то можно было бы желать, чтобы их и совсем не было, до того они не только антигигиеничны и противны всяким, даже самым минимальным требованиям санитарных условий, но нередко кажутся просто невозможными как жилища для человека и его семьи, в особенности у бедняков... Быть может, со временем калмыки и лучше будут устраиваться, теперь же, знакомясь с их жилищами, поневоле скажешь, что к счастью, не во всем Больше-Дербетском улусе есть ''крестьянские избы''. Так, например, в *Икичунусовом* роде, самом значительном по числу населения, считается не более пяти хат, а в *Будульчинеровом на семьдесят две семьи только одна изба.* Оба эти рода, расположенные на окраине улуса, находятся в выжидательном положении и не обстраиваются. Они уверены, скажем в скобках, и не без основания на то, что их рано или поздно сгонят с насиженных ими мест и укажут другие, где и заставят селиться... Но, кроме этих двух родов, остальные калмыки места своих постоянных жилищ считают уже *''вечными осадьбами''* и только опасаются того, чтобы начальство не вздумало приводить эти осадьбы в ''порядок'', переставлять ''по плану'', проводить улицы и устанавливать однообразную единицу меры для всех вообще *''осадьб''*. Правы ли калмыки, предполагая такие невзгоды, разорительные для их осадьбы,— мы не знаем, но опасения эти служат для них злобой дня, парализующей желание устраиваться лучше и прочнее. Чтобы выйти из такого неопределенного положения, не опасаться за целость и устойчивость своих *''осадьб''* и еще более закрепить свое право на них,— калмыки в 1892 году составили общественные приговоры, в коих просили главного пристава выслать в улус состоящего при управлении кочевыми народами Ставропольской губернии землемера для нарезки усадеб и распланировки мест под поселения; но весьма важные эти приговоры оставлены были почему-то без внимания, что и усилило путаницу в понятиях калмыков об их правах на землю — не только пахотную и сенокосную, но даже и на ''осадебную''. Затем полную уверенность в неимении калмыками прав на сенокосную и пахотную землю произвело распоряжение главного пристава, сделанное им в том же 1892 году, о том, чтобы вся доходность с земли поступала непосредственно в улусное управление, а не прямо, как то было ранее и как то следовало, в распоряжение родовичей, и чтобы калмыки без разрешения ''начальства'', т. е. главного пристава, не смели по своему желанию и усмотрению распоряжаться ни одной пядью земли, составляющей их душевой надел.

Слишком смелое распоряжение это, не имеющее за собой прочного юридического основания, сбило калмыков с толку, перепутало все их понятия о правах на землю, весьма гибельно отразилось на экономическом положении народа, в сильной степени охладило начавшее было развиваться желание заниматься хлебопашеством, перевернуло вверх дном все сельскохозяйственные расчеты, перепутало отношения калмыков к соседним крестьянам, лишило возможности чрез посредство последних обрабатывать землю и вообще как крайне стеснительная мера, коренным образом изменившая экономическое положение родовичей, принудила их изощряться во всевозможного рода и вида уловках и ухищрениях для обхода этого распоряжения, ибо иначе, т. е. подчинившись ему по совести, многим беднякам, положительно не имеющим ни средств, ни возможности личными средствами обрабатывать землю, пришлось бы голодать и совершенно забросить едва начавшее устраиваться сельское хозяйство.

Ввиду важности по своим вредным для благосостояния народа последствиям упомянутого бестактного распоряжения главного пристава, убившего у калмыков охоту и возможность браться за плуг, борону и косу, мы постараемся рассмотреть его возможно обстоятельнее,— тем более нужно это сделать еще и потому, чтобы не дать права говорить о голословности указанных нами выше вредных последствий его.

Распоряжение главного пристава несомненно есть продукт неупорядоченности прав калмыцкого народа на отведенную ему ''в пользование'' землю и характеризует собой властное опекунство над ним, вполне стесняющее личную инициативу, столь необходимую при ведении сельского хозяйства, как и всякого другого дела. Регламентировать все возможные в быту народа экономические случаи немыслимо, обращаться же каждый раз за ''разрешением начальства'' при возникновении того или другого сельскохозяйственного вопроса, важного в известный момент и теряющего свой смысл и пользу по прошествии момента, по меньшей мере не только неудобно, но и прямо вредно в экономическом отношении. Мы уже знаем, что до 1871 года никто — ни начальство, ни калмыки — не имели права сдавать кому-либо калмыцкую землю в долгосрочную аренду. Право это было получено только после размежевания степи на отдельные дачи по числу родов Больше-Дербетского улуса, и калмыки или, вернее, привилегированное их сословие с начальствующими лицами во главе воспользовались им в самых широких размерах. Оставив в личное свое пользование самую незначительную часть душевого надела, калмыцкие родовые общества с лихорадочною поспешностью сдали в аренду почти две трети своей земли, т. е. около ста

тысяч десятин, благодаря чему с первых же годов дарования ''временных прав на пользование отведенной землей'' последняя была расхищена под видом аренды за баснословно дешевую цену, начиная от пяти копеек в год за десятину. Сдавалась земля не с торгов, как бы то следовало, и не тем лицам, кои могли бы и желали дать максимум арендной платы, а нойону — владельцу улуса и зайсангам и затем уже чрез посредство их и нередко вопреки желанию родовых обществ — разным эксплуататорам калмыцких народных богатств, раз эти эксплуататоры были угодны нойону и зайсангам. Все же другие, не умевшие втереться в доверие к нойону, устранялись от участия в договорах с калмыками по сдаче последними земли в аренду, и ''обществам'', разумеется, негласно прямо-таки запрещалось входить с ними в какие бы то ни было соглашения. Обаяние же власти нойонов было таково, что калмыки слепо подчинялись запрещениям и, несмотря на явный для себя ущерб, сдавали землю только тем, на кого указывал нойон. Но и эти счастливцы опять-таки пользовались крупицами сравнительно с тем, что захватывал в свою пользу нойон. Благовидным для нойона предлогом для захвата калмыцкой земли как бы ''на законном основании'' послужило его право взимать с подвластного ему народа в свою пользу *''албан''*. Как будто бы входя в положение обнищавшего народа, не имеющего ни средств, ни возможности заработать таковые на уплату подати, нойоны, не желая разорять калмыков, вместо того, чтобы собирать албан деньгами, предложили родовым обществам дать им взамен денег такое количество десятин земли, годовая арендная плата за которое покрывала бы следующий с калмыков ежегодный албан. Положим, такая ''сделка'' может быть и была бы выгодной для подвластного нойону народа, если бы назначение арендной платы за известный участок земли устанавливалось калмыками, а не нойоном, который, разумеется, в этом отношении не был себе врагом и всячески старался обесценить землю до наивозможного минимума. А так как закон все-таки не допускал никаких словесных или письменных договоров между калмыками и арендаторами их земли, раз эти договоры не облекались предварительно в форму общественных приговоров и затем в форму контрактов, составляемых на основании таких общественных приговоров, утвержденных главным приставом, то нойоны и не старались обходить это требование закона,— напротив, вполне уверенные, что всякий общественный приговор, радеющий об их интересе, будет утвержден главным приставом,— склоняли калмыков к составлению таковых, заботясь об одном, чтобы срок аренды был подольше и плата подешевле. Таким путем большая часть калмыцкой ''душевой'' земли очутилась в пользовании нойона за текущий

албан и *''недоимки прежних лет''* с платой от семи до шестидесяти коп. в год за десятину, т. е. за самую ничтожную плату, вовсе не существовавшую в сделках между соседними крестьянами. Но и это еще не все. Земля отдавалась в аренду не в строго определенном количестве десятин, а *''приблизительно''*. В контрактах мертвых меж арендного участка не обозначалось; как на границы его, указывалось на тропинки; дороги, ямы и другие более или менее непостоянные, изменяющиеся межевые признаки. Такое же ''проблематическое'', как выражаются улусные ''интеллигенты'', указание меж взятых в аренду участков давало полную свободу и возможность к *''прихватками''*, и прихваткам не десятков и даже не сотен, а целых тысяч десятин земли. В общем относительно прихваток с уверенностью о несомненности факта можно утверждать, что в Большие-Дербетском улусе нет ни одного арендного участка, наличное число десятин которого не превышало бы если не вдвое, то по меньшей мере на одну треть, условленное в общественных приговорах и контрактах платное количество их. Таким образом, разложив общую сумму арендной платы на действительное количество десятин, коими пользуется арендатор, будь то нойон или кто-либо другой, получим, что десятина сдана не по семи и т. д. копеек, а значительно дешевле. Следовательно, нойон, обратив взыскание следующего ему албана на землю, тем самым увеличил его по крайней мере на одну треть, иначе говоря, вместо определенных ему законом семи рублей с кибитки взыскивал около десяти рублей, а во многих случаях и гораздо более. Но не на одних только *''прихватках''* выигрывал нойон. Операция с участками давала ему возможность увеличивать албан чуть ли не в геометрической прогрессии и вот каким путем. Не имея ни надобности, ни возможности лично эксплуатировать всю массу взятой под тем или другим предлогом у калмыков земли, нойон немедленно же по заключении контракта переуступал свое арендное право нуждающимся в земле овцеводам и скотоводам, причем всегда брал в свою пользу двойную, тройную и более плату против той, за какую земля доставалась ему от калмыков. Овцеводы сплошь и рядом платили ему не менее семидесяти копеек за десятину погодной платы или же с незначительной надбавкой зараз выплачивали *все* деньги за *весь* арендный срок вперед, что, составляя значительный капитал, представляло также немалую выгоду. Это раз; затем нойон, не желая почему-либо оставлять за собой сдававшейся в аренду земли, за отказ от участия в деле сдачи ее получал так называемое *отступное*, разумеется, не десятками рублей...

Таким образом, в первый же год получения калмыками права сдавать землю в аренду, благодаря беспорядочному чисто хищни-

ческому способу захвата ее под ''законным'' предлогом *''взятия участков в аренду''* и случилось то, что две трети калмыцкой земли, как мы уже говорили, сразу же перешли сначала в руки нойона, а затем через посредство его и под его же влиянием на ''общество'' к немногим по числу эксплуататорам, сумевшим втереться в ''фавор'' к нойону и зайсангам. Мы говорим ''эксплуататорам'' потому, что хищники калмыцкой земли, смекнув, в чем дело, и опираясь на ''фавор'', употребляли все зависящие от них темные меры, чтобы захватить в свои руки наивозможно больше земельных калмыцких участков. Успев в этом, они за исключением нужной себе части земли остальную сдавали субарендаторам, но уже за двойную и тройную плату. Нужда же в калмыцкой земле была, как есть и в настоящее время, постоянная, особенно для крестьян — мелких скотоводов, не могущих выпасывать свои гурты скота и отары овец на общественной крестьянской толоке, потому что плата за излишек против нормы взыскивалась крестьянскими обществами по довольно высокой таксировке; так, за овцу в лето — до пятидесяти копеек и за рогатую скотину — до полутора и более рублей; выпас же в калмыцкой степи, даже при условиях увеличенной эксплуататорами арендной платы за десятину земли, обходился все-таки втрое, если не более, дешевле. Такая *сравнительная* дешевизна калмыцкой земли и послужила причиной того, что калмыцкие кочевья быстро испещрились на всех ''удобных местах'' многочисленными *''русскими хуторами''*, точно гнездами пауков, опутавшими своей паутиной калмыцкое население; хозяева хуторов сделались фактическими владельцами степи в лучших ее частях, окончательно заполонили калмыков в экономическом отношении и в сильной степени повлияли на их деморализацию... Общеизвестен факт, что большинство арендаторов калмыцкой земли оказалось не только пристанодержателями, но и известными заведомыми ворами и мошенниками. Даже невзыскательные к порокам других калмыки в конце концов вынуждены были составлять общественные приговоры о выселении некоторых из них из улуса и лишении права брать когда-либо в аренду калмыцкую землю. Таким путем выселены были из улуса крестьяне-арендаторы Селюков, Ерохин, Шарафанов, Мамонтов и другие...

В то же время, как эксплуататоры калмыцкой земли богатели, пользуясь ею чуть ли не даром, сами калмыки, попав в экономическую зависимость от арендаторов своей земли, получая жалкие гроши за массу отданных в аренду участков,— сразу же очутились без земли и тем лишились возможности *''кочевать''*, почему поневоле и должны были обратиться в полуоседлое население, принужденное ютиться со своими кибитками и остатками скота на

худших местах своих дач, ибо лучшие сданы были в аренду. В связи же со всем этим ускоренная *сдача* земли в аренду послужила началом и причиной быстрого обнищания калмыков, доведшего их до того жалкого, нищенского состояния, в каком они находятся в настоящее время. Мало этого,— расхищение земли (иначе мы не можем назвать практиковавшийся способ раздачи ее в аренду) создало такую путаницу в вопросе о правах калмыков на землю и способах пользования ею, что во многих случаях положительно нет возможности разобраться в них, пока не окончатся сроки сделок калмыцких обществ с арендаторами их земли, заключенных до 1892 года, т. е. до издания закона 15 марта об освобождении народа от обязательных отношений к его привилегированному сословию. К несчастью же калмыков много есть контрактов, сроки коим наступят не ранее пяти-шести лет после 1892 года. Слова нет, что ограничение прав калмыков относительно пользования землей, отведенной им в 1871 году в виде душевого надела под оседлые поселения, равно и значение статьи ''Положения 1847 года'', по коей начальству предоставлялось право отбирать от калмыков землю, раз они не пользуются ею,— потеряет силу, если кочевники обоседлятся. Но для этого нужно прийти на помощь калмыкам и очистить их землю от незаконно, но явно убыточным договорам, захвативших ее. Ввиду этого было бы желательной правительственной мерой, вызываемой самой насущной безотложной потребностью,— уяснить законность арендаторских контрактов, правильность общественных приговоров, на основании коих заключались контракты, устранить все фальшивое и сделать калмыков настоящими, опирающимися на незыбкий закон хозяевами своей земли. Такая мера, положив конец прежней, дореформенной путанице и устранив из улуса хищников земли, несомненно могла бы дать, как то и ожидается народом, весьма полезные результаты, ибо калмык, уверенный в том, что он есть действительный хозяин своей земли, которую никто не отнимет от него под поселение ''ороса'' и доходы из которой он будет извлекать непосредственно сам для себя в свою личную пользу, а не в пользу общественного капитала, как то было до 1871 года, т. е. до времени разверстки земли,— более охотно взялся бы за дело, скорее научился бы пользоваться своим клочком земли и исподволь *принудил бы* себя прилагать к нему и физический труд, и знания земледельца. Последнее случилось бы ранее и не довело бы калмыков до нищенства, если бы..., если бы при наделении их землей ''под оседлое поселение'' не упущено было самое главное, о чем вспомнили только в 1892 году... *Нужно было освободить калмыков от зависимости их от нойонов и зайсангов или же по меньшей мере фактически устранить ''привилегированное со-*

словие'' от участия в делах сдачи калмыками своих земель в аренду, ни под каким предлогом не допускать замены взысканий денежного албана пользованием землей и категорически воспретить заключение арендных сделок домашним путем. Право же на это было, и право, точно выраженное в положении 1847 года об управлении калмыками, коим главному приставу и попечителю улуса вменяется, между прочим, в прямую обязанность следить за тем, чтобы никто не эксплуатировал калмыков, и не допускать невыгодных для них сделок, а дабы попечитель улуса и главный пристав могли следить за выгодами народа, тем же положением 1847 года объяснено, что всякие сделки, раз они не засвидетельствованы попечителем улуса и не санкционированы главным приставом, признаются недействительными; иначе говоря, и попечитель улуса, рассматривающий правильность составления общественных приговоров (не в смысле, разумеется, правописания их, а действительно ли они выражают желания общества, а не единичных лиц), так равно и главный пристав, санкционирующий их, не только имели право, но и прямо законом обязывались отнюдь не допускать к исполнению общественных приговоров по сдаче земли в аренду кому бы то ни было, раз аренда может приносить не пользу, а явный и притом значительный до невероятности убыток калмыцкому народу, и тем более ни под каким предлогом не позволять нойону брать землю взамен албана... Не вдаваясь в критическую оценку побудительных причин, заставлявших попечителя *свидетельствовать правильность,* т. е. выгодность для калмыков их общественных приговоров, и главного пристава — утверждать таковые как во всем законные и ''влекущие за собой несомненную пользу обществу'',— заметим только, что как попечителю улуса, так равно и главному приставу хорошо ведомо было то влияние, какое нойон имел среди калмыков, и то безмолвное согласие их на всякое предложение его, даже заведомо невыгодное и крайне стеснительное,— согласие, которое они всегда изъявляли, раз нойон хотел чего-либо достигнуть. Следовательно, взявши в руки тот или другой общественный приговор о сдаче земли в аренду, особенно нойону, калмыцким властям более, чем кому-либо другому, совершенно безошибочно можно было судить, составлен ли таковой под влиянием нойона или же нет, установлена ли арендная плата сообразно с выгодами общества или же лица, заинтересованного в аренде, и сообразно с этим утверждать сделки или же нет и тем действительно заботиться *''о благосостоянии вверенного их попечению народа''.* Но этого не делалось... Рука руку мыла — обе белы бывали, и, дабы не загрязнить их, в перчатках вели калмыков к нищенству, причем, опираясь на свои ''данные'', смело, чтобы не сказать более,

расписывали, пред кем нужно было, о ''малой пригодности калмыков к земледелию и склонности их только к хищничеству''... Доказательством же того, что калмыки не смели ''пищать'' о чем-либо в защиту своих интересов, что не они устанавливали арендную плату за свою землю и что земельные участки сдавались нойону и другим не ''по благому и непринужденному соизволению'', а в силу разных корыстных ''воздействий'', несомненно может служить тот резкий факт, что как только калмыки получили *свободу* (по закону 15 марта 1892 года) и стали в независимое от нойона положение, то не замедлили составить общественные приговоры, коими *настоятельно* и возбудили вопрос об отобрании от нойона и тех лиц, коим он передал арендуемую им землю,— всех участков, ранее отданных ему взамен албана, и, если нойон не пожелает добровольно отказаться от участков, то отобрать таковые по суду... Не будем касаться ни юридической, ни нравственной стороны такого *желания* калмыков, отметим только как многознаменательный факт, что упомянутые нами приговоры не особенно двигались и послужили только ''ценным материалом для соображений (?) главного пристава''. Но нам кажется, что и *без соображений* до очевидности ясно, что, раз порваны ''обязательные отношения'' к нойону и зайсангам и уничтожено их право собирать с калмыков албан в свою пользу, то тем самым *безвозвратно уничтожены и все обязательства калмыков по уступке земли нойону за албан, хотя бы срок контрактных условий и не истек ко дню объявления закона 15 марта 1892 года.* Участки сдавались *не в аренду, а за албан,*— нет албана,— нет и права пользоваться участками... О чем же тут думать и что соображать?.. Между тем... между тем нойон, вопреки протесту обществ, продолжал владеть участками и *ни гроша не вносил за них в общественную кассу.* Положим, переписка о последнем была затеяна, но результаты ее пока вполне оправдывают собой известную малороссийскую пословицу: ''поки сонце зийде — роса очи выисть''... Чем окончилась *возня* с нойоном, если только она окончилась, по поводу находящихся в его пользовании арендных участков калмыцкой земли, мы не знаем. Вопрос же о том, что делать с окончательно обнищавшими калмыками и как урегулировать их отношения к арендаторам их земли, как возвратить расхищенную землю и лишить эксплуататоров возможности пользоваться ею за бесценок; как дать калмыкам то, что принадлежит им по праву и по закону и что захвачено у них в силу разных давлений, как распутать земельный вопрос, до невероятности осложнившийся вследствие разных сделок, заключенных и на основании общественных приговоров и по ''словесным согласиям общества'', и по контрактам, и по векселям, и просто по распис-

кам на клочке бумаги, а то и ''так, по самоволию'' или же за отбывание общественных повинностей, как-то: почтовой гоньбы, ''писарства'' и проч. и проч. — вопрос обо всем этом до того *наглоился,* что волей-неволей пришлось de facto приступить к решению его. И вот, наконец, в 1892 году как первая мера в этом направлении обращено было более или менее серьезное внимание на весь вред сдачи земельных участков без торгов, а по одному только лишь соглашению с выборными от известного калмыцкого родового общества. Мера эта, по существу самая простая и не требующая никаких тонких канцелярских и начальнических соображений, сразу же дала самые блестящие результаты. Цены на землю с первых же торгов повысились не только вдвое и втрое, но гораздо значительнее. Так, вместо прежних семи, тридцати и пятидесяти копеек за десятину, та же самая земля с торгов пошла от рубля и до двух с лишком, несмотря даже на то, что она оказалась испорченной, то есть перепаханной и крайне истощенной. Такое повышение цен на землю или, вернее, восстановление настоящей ее ценности, существующей в крае, было достигнуто хотя и сразу, но все-таки не без борьбы. Понятно, что нуждающимся в калмыцкй земле трудно было ''в раз'' отвыкнуть от прежних благодушных порядков при взятии участков в аренду, а тем более забыть прежние цены, так прибыльные карману арендаторов. Помня прошлое и не веря в похороны его, на первых торгах все *''жались''* и неохотно *''надбавляли''*, рискуя только *''полукопеечками для пользы общества''*. Сплотившись между собой тесно и имея поэтому возможность не допускать к торгам ''не своих'',— хищники калмыцкой земли входили в стачки и сильные своим карманом убеждены были, что ''устоят на своем'' и установят не существующую в крае арендную плату за землю, а такую, какая им желательна и какая мало бы разнилась от прежней. Но обстоятельства сложились так, что, несмотря ни на какие ходатайства, влияния, советы и визиты с заднего крыльца, дело упорядочения вопроса о способах сдачи общественной земли в аренду было доведено до конца; торги не утверждались до тех пор, пока они не давали желательных результатов. Такая настойчивость, клонящаяся в пользу калмыков, а не эксплуататоров их земли, как то было ранее, ясно показала последним, что пришло, наконец, для них время навсегда распроститься с блаженной порой, когда возможно было платить даже семь копеек за десятину и прихватывать к участкам ''лишки'' целыми сотнями и более десятин за ведро-два водки.

Нет сомнения, что отмеченное выше распоряжение главного пристава о сдаче в аренду участков земли не иначе, как только с торгов, весьма важно по своим последствиям. Оно оказало несо-

мненную пользу калмыцкому народу и раз навсегда установило желательный порядок в таком серьезном экономическом деле, как извлечение доходов из десятков тысяч десятин земли. Но главный пристав, к сожалению, не остановился на этом и в дальнейшем своем распоряжении о порядке поступления денег за аренду участков и расходования их расширил свои административные права, не имея на то ни юридического основания, ни оправдания в хороших от того последствиях в смысле поднятия экономического благосостояния калмыков. Настойчиво требуя взноса арендных денег в улусное управление, он окончательно обнищил народ и заставил его отвернуться от земли. Вот тому доказательства.

Имеющим силу закона ''Положением 1847 года об управлении калмыцким народом'' (на основании которого главный пристав как блюститель калмыцких интересов установил правилом сдачу земли в аренду только путем торгов при улусном управлении), главному приставу предоставлено, между прочим, право — *наблюдать, чтобы с калмыками никто не заключал невыгодных и прямо убыточных для народа сделок* — и только. Из этого же *права* главного пристава отнюдь не вытекает *другое право,* по которому он, опираясь якобы на закон, мог бы вмешиваться в личные расчеты калмыков, вызываемые потребностью дня, а также и насущной, не терпящей отлагательства необходимостью сделок с крестьянами по поводу распашки десятины или двух земли, косьбы сена, приема на выпас скота и овец,— равно не вытекает и права лишать калмыков, помимо их желания, возможности самим, без посредников, получать доход с земли, составляющей их душевой надел. Если же и есть в ''положении'' статья, по которой калмыки не имеют права заключать долговые обязательства в виде векселей и расписок более чем на *полтора рубля,* на заем же большей суммы под письменное обязательство должны испросить разрешение улусного управления,— то статья эта, ограждая калмыков от ростовщиков и вообще от лиц, опутывающих население путем раздачи в долг денег ли, товаров ли и пр., — ничуть не имеет в виду сделок калмыков с крестьянами и иными лицами по сдаче земли в аренду, ибо, во-первых, собственно денежное обязательство выдает *не калмык арендатору,* а наоборот, что составляет существенную разницу, а во-вторых, при введении в действие как закона ''Положения 1847 года'' — калмыки не имели душевого надела и не пользовались правом сдавать свою землю в аренду, следовательно упомянутая нами статья о денежных сделках камыков не могла иметь в виду земельных обязательств между калмыками и крестьянами, почему и не касается их, и нужно быть виртуозом в измышлении натяжек, чтобы пользоваться ею для ограничения прав калмыков на непосредственное пользование

доходом с земли. Право сдавать землю в аренду калмыки получили только в 1871 году. С этим правом соединено было и другое как прямое и неизбежное следствие первого — именно право заключать денежные по аренде сделки на сотни и тысячи рублей. При этом о статье, запрещающей калмыкам выдавать расписки более, чем на полтора рубля, не упоминается, разумеется, в силу практической непригодности такой статьи в делах по сдаче земли в аренду. Отсюда ясно, что в своем распоряжении, не дозволяющем калмыкам входить с крестьянами в какие-либо соглашения по сдаче земли в аренду даже одной десятины и на один посев, — главный пристав не мог опираться на упомянутую нами статью. Но главный пристав почему-то счел себя вправе, во-первых, ''строго'' запретить калмыкам непосредственно получать в свою пользу деньги, следующие им за сданные в аренду участки земли и заставить арендаторов взносить плату в улусное управление, дабы из этих денег составился родовой капитал; а во-вторых, лишить калмыков права входить с крестьянами в какие бы то ни было сделки и соглашения относительно распашки земли, сенокошения и выпаса скота и овец, иначе говоря, воспретил народу совместную с крестьянами разработку земли, несмотря на то, что сами калмыки не имеют ни средств, ни умения, ни орудий для обработки ее. Оба эти запрещения, важные в экономическом строе жизни калмыков, и принесли тот вред населению, о котором мы выше упоминали. Для ясности же дела рассмотрим каждое из них порознь.

Получив в 1871 году в душевой надел землю, калмыки решительно не имели возможности сами пользоваться ею и извлекать из нее доход путем личной обработки ее. Будучи в строгом смысле слова кочевниками-скотоводами, они нуждались в земле не для возделывания ее, а для выпаса скота, и только с этой стороны экономических расчетов она и доставляла им доходность. Но, начиная с семидесятых годов, в силу многих и многих неблагоприятных условий, как-то: участившихся чумных эпизоотий, уничтожения камышей, служивших естественной защитой для скота от зимних буранов, стеснения в свободе перекочевок, усиления эксплуатации их богатств и проч., — скотоводство и овцеводство — эта экономическая основа быта кочевников — стало так быстро падать и по пятам его так быстро наступило обнищание, что к началу восьмидесятых годов скот, лошади и овцы начали считаться уже — вместо тысяч и сотен голов в отдельном хозяйстве кочевника — только десятками и вместо десятков единицами. В настоящее же время овцы у калмыков сделались редкостью, скотоводство совершенно уничтожилось, о коневодстве нет и помину, верблюды же есть только у редких счастливцев. Дойдя до

такого нищенского состояния, не зная никаких ремесел, неспособные к промышленным занятиям, калмыки, дабы не умирать с голода, поневоле должны были обратить свое внимание на землю как на единственный, находящийся в их распоряжении источник доходов. Не имея же ни средств, ни умения, ни навыка, ни склонности к физическому труду, словом ничего такого, с чем земледелец приступает к обработке земли, калмыки, естественно, не могли собственными силами извлекать из нее средств к жизни, почему в самых широких размерах и воспользовались правом сдачи душевого надела в аренду. Таким же легким способом извлечения доходности из земли они не только не поправили своего, более чем жалкого экономического положения, но и прямо-таки накинули себе на шею мертвую петлю, которую постепенно и затягивали их благодетели-арендаторы. Сдача же в аренду земли как легкий способ добычи средств к жизни был очень заманчив, тем более, что благодаря упадку и уничтожению овцеводства и скотоводства у кочевников образовалось много *свободных участков*, не приносивших им ровно никакого дохода. Чтобы иметь таковой, калмыки, оставив себе не более десяти десятин на душу, остальную землю, соединив все душевые наделы вместе, поспешили сдать в аренду с тем, чтобы доходами с нее, т. е. арендной платой, покрывать неотложные обязательные расходы, как-то: взнос нойону и зайсангам албана, взнос на содержание улусного управления, родовых писарей, почтовой гоньбы, на жалованье родовым старшинам, старостам, рассыльным и пр. и пр. общественные нужды, включая в них помощь бедным, духовенству, расходы на общественные празднества и работы по уничтожению пруса и чумы... Затем остаток после покрытия всех упомянутых расходов делился уже между всеми родовичами покибиточно, т. е. по числу отдельных семейств, — чем вполне и достигалась общественная справедливость в распределении доходности с земли... Слова нет, что калмыки, как мы уже знаем, крайне неумело, неосторожно, без надлежащего опыта взялись за дело сдачи своей земли в аренду, с лихорадочною торопливостью поспешили развязаться с нею, вследствие чего и случилось как неизбежный результат то, что земля оказалась расхищенной почти задаром, сами калмыки не получили надлежащей доходности с нее и воспользовались самыми жалкими крупицами, в общем не смогшими не только поправить вконец распатанное их экономическое положение, но и дать даже нищенское обеспечение, так или иначе могущее избавить от мучительной для номада необходимости добывать себе средства к жизни путем затраты физического труда, неведомого скотоводу. Но в этом никак нельзя винить калмыков. По нашему мнению, вся тяжесть ответственности за расхват

калмыцких земель не только без надлежащей пользы для народа, но и прямо-таки в явный для него ущерб,— всецело падает на попечителей улуса и главного пристава. Весь смысл их службы, как чиновников, законом обязанных заботиться о благосостоянии калмыцкого народа, состоял и состоит в том, чтобы они *охраняли интересы его и не допускали бы заключения невыгодных сделок.* Никакие общественные приговоры без санкции главного пристава, никакие контракты и условия, не засвидетельствованные улусным управлением, даже заключенные общим нотариальным порядком,— не имеют силы законных документов; иначе говоря, калмыцкий народ, его интересы, земля, весь экономический строй его жизни по закону находится под самой строгой оценкой главного пристава и попечителя улуса. В этом и состоит главное и существенное назначение улусных чиновников, и этим они и разнятся от других административных правительственных исполнителей. Следовательно, в их руках была полная возможность не допускать расхищения калмыцкой земли. Сделать это они обязаны были и законом, и совестью, вменявшей им в обязанность наблюсти, чтобы арендная плата за участки была по крайней мере не менее существующей на земли соседних с улусом крестьянских обществ. Достигнуть же этого не представлялось никакого труда. Нужно было только заблаговременно собрать справочные сведения о существующих арендных ценах на землю в Ставропольском, Новогеоргиевском и Медвеженском уездах, окружающих Большe-Дербетский улус и одинаковых с ним по топографическим и почвенным условиям, и затем, имея такие сведения, не допускать, чтобы калмыцкая земля сдавалась дешевле, чем в соседних уездах. Вот и все... и это *все* так просто и легко исполнимо, что достигнуть его можно было бы, если позволительно так выразиться, чисто механическим путем, без всяких головоломных о том соображений, требующих доказательств *за* и *против...* Нужно было только следить за сдачей калмыками своих участков и не утверждать ни общественных о том приговоров, ни контрактов, если они явно вели к ущербу калмыцких интересов и обозначенные в них цены за десятину земли были ниже существующих в окрестных крестьянских дачах.

Все это, разумеется, так бы и было, если бы с утверждением приговоров и заключением на основании их контрактов и условий о сдаче земли в аренду не связывалось кое-что весьма существенное для власть имущих,— настолько существенное, что пред ним меркли и интересы калмыков, и их нищенски-безвыходное положение, и долг службы, и статьи закона... Сами калмыки не смели ''нищать'' против явной эксплуатации их, не смогли твердо устоять против соблазнов и тех ''улещиваний'' со стороны

арендаторов, коими сопровождалась всякая сдача им земли. Соблазны же эти и улещивания были таковы, что не только калмыкам, крайне падким к спиртным напиткам, но и более устойчивым людям трудно было бы не поддаться, ибо они рассчитывались на слабости народа, велись умело, упорно и с соблюдением полного по наружности благодушия, доброжелательства и участливого отношения к нуждам калмыков. Желающие взять у калмыков землю в аренду, сплотившись между собой, вели ''свою политику'' так, что калмыкам казалось, что не кулаки-арендаторы хотят нажиться на их счет, а напротив, что кулаки из-за дружбы и ''хорошего сердца'' хотят сделать добро народу. Еще задолго до окончательного решения вопроса о сдаче того или другого участка земли в аренду наметившие его будущие арендаторы ''входили в знакомство'' с влиятельными в обществе родовичами, спаивали их водкой, дарили овцу или две — словом, всячески втирались в доверие и расположение к ним. При этом на первых порах они ни единым словом не проговаривались о побудительной причине, заставлявшей их ''тянуть канитель и бражничать с поганой тварью''. Все сводилось к тому, что ''хороший уж больно ты человек, Ункур Дорджеич, душевный, настоящий кулак... Архитамхи (табак-водку) будем делить вместе... Хурда-мурда (ничего твоего) мне не нужно... Так будем приятелями-кулаками. Ты мне пособка (помощь) дашь, я тебе... ну и ладно будет''.

Улещенные такими приемами ''почетные старики-родовичи'' делались, конечно, сторонниками своего кулака, готовыми всегда и во всем по завету куначества помогать ему. Кулак же, ''расчистив почву'' и уверившись, что старики действительно окажут ему ''пособку'', смело уже ''запускал удочку насчет участочка земли'', не придавая, впрочем, вопросу о найме его большого значения,— а ''так — между делами, мол, отчего и не взять лишней землицы, гулящей и никому не нужной''. Раз же вопрос об аренде ''участочка'' всплывал наружу, будущий арендатор его, имея пособниками ''стариков''[1], начинал, кроме стариков, систематически спаивать всех, ''кого нужно'', и *''заливал водкой горло твари''* до тех пор, пока не составлялся общественный приговор о сдаче ему земли в аренду и не заключался на то контракт в улусном управлении. Разумеется, не обходилось дело и без взяток; но главным образом пьянствовали — и на общественных сходах, и в с. Ивановке, где расположено улусное управление. Пьянство иногда сопровождалось нарочито нанятой музыкой,— всегда же

[1] Таким именем калмыки называют своих выборных для участия в общественных сходах.

было настолько обильным, что уполномоченные и ''горластые старики'', т. е. влиятельные в обществе калмыки настолько ''промокали'' водкой, что решительно находились в положении невменяемости и делали все то, что угодно было спаивающему их кунаку. Кунак же, после ''заполучения'' контракта, быстро изменял свои отношения к ''твари'', на случай же нужды и в будущем изредка ''ублажал'' одних только власть имущих, остальных же в буквальном смысле слова ''гнал по шее'' не только из своего дома и хутора, но и из степи, взятой им в аренду, травил собаками, лупил нагайками и при случае всячески издевался над ними.

Обо всем этом так подробно мы говорим для того, чтобы показать всю, выражаясь снисходительно, неблаговидность поступков лиц, и рассматривавших, и утверждавших общественные приговоры калмыков о сдаче в аренду земельных участков. Проделки арендаторов с калмыками, спаивание их, подкупы, словом, — вся недобросовестность кулацких приемов и открытое безобразие ''интермедии'' между составлением общественного приговора и заключением контракта хорошо было ведомо и попечителю улуса, и главному приставу, совершалось чуть ли не на глазах первого и нередко, если не пред окнами улусного управления, то на задворках его, пока писаря писали контракт. Покладиста же у них была совесть и велика любовь к стяжанию, если они на все это смотрели сквозь пальцы и ничтоже сумняся, равно и не ведая страха ответственности по службе — проверяли и утверждали общественные приговоры, заключали контракты и получали явно для всех должную мзду...

Если же так было обставлено дело сдачи калмыцкой земли в аренду, то, разумеется, не может быть и речи о том, кто более виноват в расхищении ее почти задаром — калмыки ли или же их начальство, обязанное законом быть блюстителем интересов народа и не допускать невыгодных для него сделок. Дело настолько ясно, что выяснять этот вопрос после уже сказанного нами излишне... Остается только сказать, что отмеченное нами распоряжение главного пристава в первой своей части, т. е. относительно порядка сдачи в аренду калмыцких земель не иначе, как с торгов, действительно принесло существенную пользу народу. Вслед за ним почти устранилась возможность подкупов и спаивания калмыков водкой, затем все, кому нужна была земля, получили доступ и право участия в торгах. Общество калмыков в своих приговорах только указывает, какой участок земли, во сколько десятин и на какой срок оно желает сдать в аренду, но не может указать на лицо, которому оно предпочтительно пред другими желало бы сдать свою землю, тогда как ранее калмыки в своих

приговорах прямо указывали, что именно такому-то арендатору, а не другому кому-либо они сдают свою землю в аренду, и хотя бы это лицо давало меньшую плату, чем другие, с ним все-таки заключали арендный контракт. И если бы главный пристав, упорядочив дело сдачи в аренду земельных участков, не стеснил калмыков в их правах пользоваться доходностью с земли без посредничества его самого и улусного управления, равно и не вмешался в такие, сравнительно мелочные, но для калмыков очень важные, хозяйственные дела, как, например, сдача в наем соседям-крестьянам одной или двух десятин земли под пахотьбу, отдача покосных паев, впуск на толоку крестьянского скота и проч., — то он, т. е. главный пристав, таким своим распоряжением несомненно оказал бы воздействие на поднятие экономического благосостояния народа. Но этому помешала вторая часть его распоряжения. Дело в том, что калмыки, как уже упоминалось, за исключением крайне редких, единичных случаев, не имеют ни инвентаря, необходимого для земледельца, ни скота, приноровленного к плугу и бороне, ни личного навыка и умения заниматься хлебопашеством. Поэтому, лишившись скота, они en masse и находятся почти в нищенском состоянии, несмотря на то, что имеют сравнительно большой надел земли, именно тридцать десятин на душу. *Не умея* же и *не имея* средств лично вести сельское хозяйство, калмыки в силу необходимости большую часть своей земли сдают в аренду, остатки же, кроме толоки и сенокосов, в последнее время начали было разрабатывать сами, но все-таки при непременном посредстве и участии крестьян, имеющих необходимые для того знания, орудия и скот. В этом-то последнем отношении главный пристав крайне стеснил калмыков, запретив им входить в сделки с крестьянами без разрешения на то улусного управления; в свою очередь и улусному управлению он не дал права самостоятельно дозволять калмыкам совершать земельные сделки с крестьянами без предварительного ''доведения'' о том до его сведения, чем создал сложную и требующую значительной затраты времени процедуру для получения народом права разрабатывать свою землю совместно с крестьянами на взаимных условиях, самостоятельно заключенных друг с другом и основанных на личных нуждах и выгодах каждого. Ранее этого распоряжения калмыки свободно и всегда с пользой для себя входили в соглашения с крестьянами относительно распашки своих паев, тем самым незаметно привыкали к земледельческому труду, исподволь начали было обзаводиться сельскохозяйственным инвентарем, равно и приучать свой скот к плугу и бороне; в последнее время появились уже и такие хозяева-калмыки, что могли *''спрягаться''* (к крестьянским быкам припрягать своих) с

бравшими у них землю с доли урожая, что, понятно, явилось громадным шагом вперед. Благодаря ''спряжкам'' у некоторых, более предприимчивых калмыков завелись уже и собственные букари (двух- и трехлемешные плуги). Но все это сбилось, перепуталось и на время остановилось в дальнейшем своем развитии единственно потому, что главному приставу ''пожелалось'' заставить калмыков, чтобы они *сами* занимались земледелием, *лично своими* трудами и средствами обрабатывали бы землю, а не тем, якобы *убыточным, способом,* какой они ранее практиковали, т. е. не через посредство крестьян, почему и запретил сдавать землю последним на каких бы ни было условиях, кроме как по раз установленной таксе за десятину с обязательством взноса денег в улусное управление. Все нежелательные последствия от такого распоряжения будут нам ясны, если мы познакомимся со способом распределения калмыками между собой земельных паев.

Нечего и говорить о том, что до 1871 года, т. е. до разверстки калмыцкой степи по числу душ собственно калмыцкого населения Больше-Дербетского улуса, кочевники сообща пользовались всей землей и у них не было понятия о правах личной собственности на ту или другую часть целого. С 1871 года калмыки, как известно, получили определенный надел — именно по тридцати десятин на душу,— причем земельные дачи были разделены и разграничены только между отдельными родами, составлявшими отдельную самостоятельную административную единицу. Но и после такого разделения степи на душевые наделы калмыки продолжали, как продолжают и теперь, придерживаться прежнего обычая, совместно пользовались землей, не вступили в права личного владения всей частью душевого надела, по-прежнему оставили землю в общинном владении и только в самое последнее время, вынужденные необходимостью заняться земледелием, родовичи начали выделять из общего владения пайки под пахоту и сенокошение. Делалось это так. Род, составляющий отдельное общество, определял необходимое для своих общих потребностей количество земли, как-то: под толоку, сенокошение и пахоту; остальную землю обществом же сдавал в аренду, плата за которую шла на покрытие всех общественных и казенных повинностей, а остаток делился между всеми кибитками поровну. Оставленная в личное пользование земля, кроме толоки, делилась на *паи* опять-таки покибиточно, причем, при дележе имелось в виду и *качество земли;* так, от собственно степной выделялись *лиманы* как места, более удобные для сенокошения. Благодаря этому каждая кибитка имела паи и в степи, и в лиманах.

Для достижения же наибольшей справедливости в пользовании паями последние не были прежде и не являются теперь постоянными и передел их совершается через каждые три-пять лет, ибо признается, что за этот период времени в составах кибиток происходит существенное изменение, образуются новые, а часть старых теряет право на паи вследствие вымирания имущественно правоспособных своих членов. После дележа земли на паи в дальнейшее распоряжение ими община уже не вмешивалась. Получивший пай имел независимое право лично распоряжаться им по своему, ничем не ограниченному произволу — мог сдать его за деньги, отдать с доли урожая, сам распахать и т. д. Только, разумеется, не имел права продать. Теми паями, что в лиманах, калмыки исключительно пользовались и пользуются для сенокошения. Богатое скотом меньшинство само, своими средствами, убирало сено, большинство же поступало так: а) совершенные бедняки продавали русским, а б) имеющие корову и лошаденку сдавали покос с доли, получая в свою пользу пятую и даже менее копну. Несмотря на такую дешевизну, не существующую в окрестных селах, калмыки все-таки имели ту несомненную выгоду, что у них получался запас корма на зиму, корма, вовремя убранного и по-хозяйски сложенного в огородах, к чему калмыки, предоставленные самим себе, по своей беспечности мало способны и склонны, к тому же не имеют в своем распоряжении и нужных для того средств, так как у громадного большинства из них нет ни телег, ни волов, ни упряжи, т. е. ничего такого, что нужно при уборке сена; у многих же нет даже ни кос, ни грабель, и не на что их купить. Отсюда ясно, что без сделок с крестьянами и участия их в сборе сена подавляющее большинство калмыков по своей ленивой беспечности и по неимению нужных орудий и перевозочных средств, наверное, осталось бы без запасов сена. Если же какая-нибудь часть сена и была бы скошена лично калмыками, то она так бы и осталась в копнах, следовательно пропала бы и от дождей, и от потрав скотом, что сплошь и рядом и случается. Во всем этом легко убедиться — стоит только проехаться по покосным местам во время уборки сена и присмотреться, *кто ею занимается,* затем обратить внимание, *что есть* у калмыков близ их кибиток и внутри их. На покосах везде пришлось бы увидеть массу работающих крестьян и только кое-где сиротливо мелькающих с косами калмыков; близ же кибиток и в них не увидели бы ни телеги, ни ярма, ни сбруи; брички и дроги встретились бы у очень и очень немногих счастливцев-богачей...

Что же касается паев в степной части земельных дач, то разрабатываются они частью самими калмыками, всегда с непременным участием крестьян, частью же сдаются последним под распашку на известных условиях, которые бесконечно варьируются, смотря по нужде владельца пая и личным его наклонностям и

потребностям. Мы уже говорили, что скотоводство собственно у калмыков совершенно прекратилось и давно уже перестало давать нужные к жизни средства. Две-три коровы есть у немногих счастливцев, — большинство же не имеет более одной тощей и задоенной, немало есть и таких *байгушей* (бедняков), которые кроме дырявой кибитки и кучи детей решительно не имеют никакой другой собственности; есть и такие, что всю свою жизнь скитаются по чужим кибиткам и решительно не имеют никаких средств к жизни. В общем же для всех, безусловно, калмыков в настоящее время земля представляет единственный источник доходов. Этим-то источником каждый калмык и пользуется, смотря по своим средствам, умению и ловкости. Более или менее зажиточные калмыки, имеющие пару-другую рабочих волов, не сдают в аренду своих паев, а напротив — к ним добавляют еще и арендуемые у своих сородичей. А так как даже самый богатый калмык сам, своими силами и умением все-таки не способен обрабатывать землю, к тому же и не имеет необходимых для того земледельческих орудий, то он поневоле входит в соглашение с кунаком-крестьянином и принимает его в свои найщики. Иные же из зажиточных калмыков за свою землю и помощь при уборке с нее хлеба получают с крестьян около половины урожая в готовом зерне. Иногда бывает и так, что сами крестьяне своим скотом и орудиями без всякого участия в работах со стороны калмыка, дающего землю, вспахивают ее, обсеменяют своим зерном и убирают, но только одну свою условленную часть (половину, редко треть), другую же часть убирает владелец пая. Но пользующихся так сравнительно определенно своими паями очень мало — преобладающее большинство народа продает свои паи, как уже сказано, на самых разнообразных условиях, перечислить которые почти невозможно. Тем не менее можно сказать, что в основе таких сделок всегда лежит забота и желание калмыков получить с крестьянина-нанимателя пая *гуир* (хлебное зерно) и *эдмык* (готовый хлеб), без которого существование бывших кочевников-скотоводов, в особенности зимой, сделалось уже невозможным. Летом калмыки еще кое-как могут пропитываться арьяном (прокваше́нное молоко) и чаем с молоком, изредка лакомясь бараниной; зимой же, когда удой коров прекращается, единственную повседневную пищу калмыков представляет, кроме чая, *будан*, т. е. мука, сваренная в воде и приправленная сбереженным на зиму молоком (в сушеном и квашеном виде), если таковое есть. Без этого *будана*, как русский без хлеба, калмык не может — да и нечем было бы — жить. Так вот, чтобы иметь по возможности всегда муку для будана, а иногда полакомиться и ''пышками'' (хлебные лепешки), калмык и сдает свой най *''знакомому''*, т. е.

крестьянину-приятелю, за известное количество гуира (муки), что и составляет плату за пользование землей. Кроме того, имея такого ''знакомого-арендатора'', калмык *надоедает* ему частыми своими посещениями: сам ''отъедается'' у него и никогда не уходит домой без куска *эдмыка*, т. е. печеного хлеба. В таких отношениях к ''знакомому'', несомненно, есть много выгод для беспечного, не умеющего делать сбережения и вообще ленивого калмыка. Если же вспомнить, что он решительно не в силах сам, своими средствами, вспахивать землю, что у него нет места для хранения зерна на случай, если бы у него таковое явилось; если мы узнаем, что калмык не отличается бережливостью, то и согласимся, что он, зная себя и свои наклонности, умудренный опытом, лучше, в смысле извлечения наивозможно большей пользы из своего пая, не сможет — да и нельзя — эксплуатировать его и не сумеет иначе устроить свои хозяйственно-продовольственные дела — до тех пор, пока сам не будет распахивать землю и не изыщет необходимых к тому средств. Без средств же и без посторонней помощи, в чем бы таковая ни выразилась — в участии ли крестьян в совместном с калмыками труде по обработке земли, или же в снабжении их рабочим скотом и земледельческими орудиями — калмыки в том положении, в каком они находятся теперь, решительно не могут сами обрабатывать своих земельных паев.

Это вопрос будущего, вопрос очень важный и, по нашему мнению, наилучшим способом обойденный самими калмыками, практикующими своеобразную систему сдачи своих паев крестьянам на вышеупомянутых условиях. Мы нисколько не преувеличили, сказав, что калмыки, сдавая так свои паи крестьянам, извлекают из них наивозможно большую для себя пользу. Перевести на деньги все то количество гуира и эдмыка, какое калмык получит по условию и выманит, и выпросит, и съест, почти невозможно. Сами же крестьяне говорят, и не без основания на то, что им гораздо дешевле обошлось бы то же количество земли, если бы они взяли его прямо за деньги и не выплачивали за него *фунтами и горстками муки и пирогами* (печеным хлебом) в продолжение осени и зимы. В общей экономии крестьянского хозяйста фунты муки и пироги почти незаметны, не ложатся бременем на его бюджет, и крестьянину кажется, что он ''дешево держит землю''. В действительности же, если бы этим фунтам и пирогам подвести итог, то стоимость их, наверное, превышала бы нормальную стоимость того количества земли, за которое дается калмыку хлеб, а не деньги. Все дело в том, что крестьянин *не деньги платит за землю и не сразу ''кушем отсыпает'' условленное количество муки, а выдает ее в продолжение долгого сравнительно времени и малыми, незаметными частями;* калмык

же все-таки обеспечивается мукой, т. е. необходимой повседневной пищей, не подвергает себя случайностям и соблазнам сбыть кажущийся излишек запаса. Получая же деньги за землю, он, враг бережливости, не медля промотал или же пропил бы их, что сплошь и рядом и случается с теми калмыками, которые рискуют продавать свои паи за деньги.

Слова нет, что при таком способе возделывания своей земли и извлечения из нее доходности калмыки являются какими-то паразитами, экономически неправоспособными и поставившими себя в полную материальную зависимость от своих знакомцев — крестьян; понятно, что такая легкая сравнительно возможность прокармливания себя и своего семейства не возбуждает и не может возбудить энергию, инициативу и дух предприимчивости в деле занятия сельским хозяйством и, если не убивает, то во многих случаях усыпляет охоту к физическому труду, вследствие чего необходимо изыскать средства и способы помочь калмыкам выйти из такого зависимого от чужого труда положения, приохотить их к самостоятельному земледельческому труду и отвлечь их от мертвящего влияния ''знакомцев'', к которым они по собственному выражению их *''дюже присосались''* и без которых считают себя *''пропащими людьми''*. Если же мы и сказали, что сами калмыки лучше своих опекунов нашли средство пользоваться своими пахотными паями и при данных условиях извлекают из них наивозможно большую для себя пользу, то сказали так потому, что официальное решение этого же вопроса, выразившееся в распоряжении главного пристава: сдавать даже земельные паи не иначе, как за деньги и с разрешения начальства, причем деньги должны взноситься в улусное управление,— решительно не выдерживает никакой, даже снисходительной, критики,— и как практически несостоятельное не могло не оказать вредных в экономическом отношении последствий, перепутало все сношения калмыков с крестьянами и поставило первых на более или менее продолжительное время в самые тяжелые экономические условия. Затем несомненным результатом этого распоряжения явилась и рассказанная уже нами возмутительная история столкновения калмыков Икитуктунова рода с попечителем улуса Г., считавшим себя вправе, опираясь на распоряжения главного пристава, призвать казачью команду и вооруженной силой отнимать у калмыков и их арендатора принадлежащие первым деньги за их собственную землю, несмотря на то, что им очевидно были нужны деньги на покупку хлеба и корма для скота; и те глухие, едва не разразившиеся крайне нежелательным инцидентом волнения среди крестьян и калмыков, какие были весной 1893 года по поводу фактического запрещения: а) калмыкам — сдавать под распашку свои паи

без взноса получаемых за них денег в улусное управление и б) крестьянам — распахивать эти паи, хотя бы расчет за них и покончен был с калмыками. Чтобы не быть голословным, скажу несколько подробнее о последнем факте.

Не обращавший внимания на последствия своего распоряжения главный пристав настоятельно потребовал, чтобы большедербетская улусная администрация ''строго и неуклонно'' следила за тем, чтобы крестьяне ни под каким предлогом не распахивали бы калмыцкой земли без предварительного взноса за нее арендной платы, помимо калмыков, прямо в улусное управление по раз установленной таксе, — именно ''за ''мягкую'' землю 1 р. 20 к. с десятины, залежь 2 р. и целину 4 р. тоже за десятину. При этом велено было не обращать ровно никакого внимания на ранее существовавшие сделки калмыков с крестьянами; все расчеты и обязательства, заключенные между ними, сочтены были незаконными (?), и крестьяне, уплатившие уже за землю деньгами или хлебом, должны были вновь платить по таксе, если желали пользоваться ранее оплаченной землей. Словом, калмыки совершенно лишились права самостоятельно распоряжаться своими пахотными и сенокосными паями, а крестьяне потеряли возможность пользоваться нанятой у них землей, потеряли также деньги и хлеб, уплаченный за нее. В общем же были нарушены и уничтожены тысячи сделок крестьян с калмыками. Понятно, что крестьяне и калмыки заволновались, протестовали, — но из их протеста ничего не вышло. Калмыки наружно смирились, крестьяне же свои протори и убытки выместили на хозяевах паев, брали с них, что возможно, и били их при каждой встрече с ними в селах, чем и вынудили так или иначе рассчитаться за взятые деньги и хлеб. При этом, естественно, развилась масса нелегальных проделок, имевших целью как-нибудь обойти распоряжение главного пристава и дать своим знакомым крестьянам возможность безнаказанно распахивать землю. Но, несмотря на последнее, все-таки большинство калмыков осталось и без хлеба, и без денег, и без возможности по-прежнему получать от знакомцев даром гуир и эдмык. Следовательно, главный пристав, лишив калмыков права самостоятельно распоряжаться своими паями, тем самым не только поставил их в экономически безвыходное положение, но и натолкнул народ на путь изыскивания всяческих нелегальных способов пользования *своими* паями непосредственно *в свою* пользу, иначе говоря — невольно заставил их плутовать для добывания средств к существованию. Вместе с этим главный пристав, не предвидя того, своим, по-видимому, охраняющим интересы калмыков распоряжением положительно разорил их. Так, в том же 1893 году была необычайно суровая зима. С

двадцатых чисел декабря месяца 1892 года и до половины января следующего года беспрерывно свирепствовал сильнейший снежный буран, благодаря которому скот не имел возможности пользоваться подножным кормом не только в период бурана, но и после него, почти до середины февраля месяца, так как степь занесена была толстым слоем снега и стояли сильные, необычные холода. Страдая же и от холода, и от бескормицы, скот массами пропадал. Трудно поверить, а между тем это официально засвидетельствованный факт, что в течение упомянутого нами времени свирепствования снежного бурана у населения Ставропольской губернии, находящегося в ведении главного пристава, от голода и холода *пало один миллион двести одна тысяча сто восемьдесят семь голов разного скота и лошадей;* в том числе, собственно у калмыков Большe-Дербетского улуса, беднейших скотом, *пало тысяча пятьсот пятьдесят одна голова.* При нищенстве народа это ужасные цифры. Между тем, если бы калмыки не лишены были права непосредственного получения доходности со своих паев и тем не был бы подорван их кредит у крестьян, бедствие не имело бы таких страшно разорительных последствий. В 1891 году в калмыцкой степи был полный неурожай, никто не скосил ни былинки травы, посевы также пропали, и тем не менее калмыцкий скот не падал с голоду. Положим, в том году калмыкам выдана была ссуда из общественного капитала по одному рублю на голову скота. Но не эта ссуда спасла скот от последствий голодовки. И без объяснений понятно, что на один рубль в течение зимы невозможно прокормить даже овцу, тем более во время голодовки, когда сажень соломы продавалась за двадцать и более рублей, сажень же сена — за семьдесят и даже восемьдесят рублей. Спасла же скот не ссуда, а помощь крестьян соседних сел, в которые калмыками угнан был скот и где он прозимовал вместе с крестьянским. За зимовку же скота калмыки рассчитались с крестьянами не деньгами, что невозможно было для первых, а уступкой им части своих покосов и пахотных паев, что и было выгодно как для той, так и для другой стороны, и крестьяне без ущерба для калмыков сохранили единственное их достояние — скот. В 1893 году калмыки не могли так счастливо отделаться от беды, ибо в силу запрещения сдавать свои паи крестьянам они потеряли всякий кредит у последних. Крестьяне, зная, что их сделки с калмыками не признаются начальством, не верили в долг последним и требовали с них за сено и солому наличные деньги, которых беднякам решительно негде было взять. Из своих родовых сумм, хранящихся в улусном управлении?.. Странно об этом и говорить. Корм и приют для скота нужен был сейчас же, в момент застигнувшей беды, следовательно сейчас же нужны были и деньги

для приобретения корма. Получить же деньги из улусного управления можно только по выполнении тяжелых в данном случае и медлительных канцелярских проволочек и формальностей. Нужно: 1) испросить разрешение главного пристава на право созыва общественной сходки, 2) выждать требуемые законом две недели, когда, получив разрешение, можно созвать сход и составить общественный приговор об отпуске денег, 3) отослать приговор на просмотр улусного управления и утверждение главного пристава, 4) получить предписание о выдаче денег, 5) взять их из казначейства и 6) раздать всем нуждающимся под их расписки — короче говоря, на выполнение всех этих необходимых формальностей затрачивается самое нужное время, и калмыки свои собственные деньги, крайне потребные в известный момент, получают тогда, когда нужда в них проходит и бедствие, обрушившись всей силой своей тяжести на находящийся под опекой народ, успеет причинить ничем непоправимый вред. То же самое, что со скотом, случалось и с людьми во время повальных заболеваний калмыков оспой, брюшным тифом и др. болезнями, что и было в том же 1893 году... И нет ничего ни удивительного, ни невероятного в том, что калмыки, благодаря лишению их права пользоваться доходами с земли без посредства главного пристава и улусного управления, еще более обеднели, потеряли возможность пользоваться помощью от крестьян и, дабы иметь хлеб, одежду, средства на свадьбы, похороны и т. п., должны были продавать последнюю коровенку. Нужды их, зачастую совершенно не предусмотренные, не могли и не могут ждать поры, когда путем официальных разрешений соблаговолят выдать деньги для покрытия их; по миновании же нужды, понятно, что и помощь не в помощь. Да наконец не за всякой нуждой удобно бывает обращаться к начальству; нужны, например, деньги на покупку водки для сватовства, свадьбы и при других случаях; как на водку просить денег? И калмык не решится просить их, да и начальство не даст... Таких же случаев, неудобных для обнаруживания перед начальством, (ибо они могут показаться ему и малозначащими, и ненужными, и вредными, почему и ''не подлежащими удовлетворению'') в жизни народа по требованию его обычаев, встречается масса. Случаи же эти, вопреки взгляду начальства, неустранимы и тесно связаны со строем его быта. Слова нет, что желательно образование общественных родовых капиталов. Против важного значения последних в экономическом быту народа не может быть и речи. Но образовать такой капитал, думается, вполне возможно, не прибегая для того к таким неудобным для калмыков мерам, как, например, лишение их права непосредственно пользоваться арендными деньгами со своей земли. Земли много; большая половина

ее сдается в аренду по общественным приговорам. Раз же у главного пристава есть легальное право вмешиваться в денежные расчеты калмыков и распределять их доходы по своему усмотрению, то и пусть бы он определил: 1) сколько нужно удерживать из общей арендной суммы для взноса в казначейство на покрытие покибиточного албана (подати) и на удовлетворение других, законом требуемых, общественных расходов и 2) какой процент из той же суммы взносить в улусное управление для образования родовых капиталов; а затем остальные деньги предоставил бы в свободное и непосредственное распоряжение родовых обществ, без всякого вмешательства в дело расходования их со стороны официальных лиц; разве только обязав последних следить, чтобы деньги не утаивались должностными лицами и делились бы между всеми родовичами поровну. Что же касается вмешательства главного пристава и чиновников улусного управления в дела калмыков по соглашению их с крестьянами относительно разработки паевой земли, равно и сдачи ее в аренду, то такое вмешательство, как о том говорят факты, бесспорно вредно отражается в нищенской жизни калмыков, портит их отношения к соседям-крестьянам, обезличивает народ, убивает в нем дух предприимчивости, низводит свободный и здоровый народ на степень каких-то богадельщиков, вынужденных, дабы иметь личные средства, или попрошайничать, или же разными темными путями не допускать, чтобы их деньги попадали в улусное управление. О последнем калмыки, не скрываясь, заявляли на общественных сходках, вполне справедливо доказывая, что, если главный пристав не отменит своего распоряжения, то нужда заставит их ''находить обходы'', так или иначе вступать, хотя бы и в убыточные, но крайне необходимые сделки с крестьянами, дабы иметь ''*свободные деньги*'', обойтись без которых нет возможности. Понятно, что у них слово не расходилось с делом; паи по-прежнему сдавались в аренду, но уже *тайком*. Крестьяне же, пользуясь случаем, под видом вычета за риск, сильно понизили плату за землю. Пишущему эти строки доподлинно известно множество случаев нарушения распоряжения главного пристава. Жизнь народа и экономические его интересы не могут подчиниться гнетущим их канцелярским требованиям, особенно, если эти требования нарушают все жизненные устои, взамен чего, кроме пут, ничего не дается. Заведующим калмыками вероятно хотелось устроить какую-то официальную коммуну с безответными членами ее — калмыками-хозяевами земли, доходность с которой и составляла бы бюджет коммуны. Но тогда следовало бы устроить так, чтобы в управлении коммуны было все необходимое для удовлетворения насущных нужд калмыков, равно было бы и место для приюта бездомных

бедняков, сирот и калек. Раз же ничего подобного нет и не может быть, то ни в каком случае не следовало лишать калмыков права получения доходов с земли (особенно с паев и за выпас скота) прямо на руки без посредничества улусного управления; за последним должно оставаться только право надзора, т. е. именно то, что возложено на него законом, а не главным приставом. Иначе — должно было случиться то, что случилось, т. е. калмыки, дабы иметь у себя лично средства, научились плутовать; а так как, благодаря плутовскому способу сдачи земли в аренду, ценность ее понизилась, то калмыки, дабы пополнить недочеты, поневоле должны были продавать последний свой скот. Затем, что будет дальше — нетрудно угадать... Во всяком же случае не следует держать народ в заблуждении... Одно из двух: или же признать калмыков неправоспособными распоряжаться землей, извлекать из нее доходы и самостоятельно расходовать деньги — и тогда лишить их надежды на приобретение независимых прав на землю, или же, что гораздо справедливее, — оставив вредный и ошибочный взгляд на имущественную неправоспособность калмыков, закрепить за ними землю, дать им полную свободу распоряжаться своими паями, не вмешиваться в расчеты с крестьянами и *не давать из милости, что следует дать по праву.* Совершенно ошибочно думать и утверждать, как то делают официозы, что калмыки будто бы не понимают своих выгод и по-прежнему продолжают заключать невыгодные для себя сделки. Нужда и их научила уже *есть калачи.* Масса известных нам сделок калмыков с крестьянами дает право утверждать, что калмыки отлично понимают и соблюдают свои выгоды, предусматривают все случайности и умело гарантируют бесспорность получения выговоренного, причем не упускают случая даром или же наивозможно дешевле воспользоваться и знаниями крестьянина, и его скотом, и сельскохозяйственными орудиями. А это несомненно свидетельствует о том, что если бы у калмыков были средства, необходимые для обработки земли, то невдолге они сами по себе без чиновничьего вмешательства взялись бы за плуг. Но тут-то и случилось то, чего не следовало бы допускать, — именно не следовало 1) колебать уверенность в ненарушимости прав на землю и 2) лишать права получать в свои руки доход с пахотных и покосных паев. Взамен же последнего лишения калмыкам ничего не дано, ибо нельзя же считать в самом деле действительно серьезной поддержкой для калмыков покупку им по два и по три плуга на целый род, считающий в своем составе от семи до пяти сот отдельных хозяйств. Это было не поддержкой, а забавой. Иначе мы и не можем назвать приобретение в 1893 году для каждого родового общества *по два плуга,* не можем назвать потому, что сами по себе

шуги бесполезны. Чтобы они могли приносить пользу, нужно много кое-чего добавить к ним — это раз; а во-вторых, разве можно установить справедливый хотя сколько-нибудь способ пользования ими со стороны населения в сто и четыреста отдельных хозяйств? Затем нужна животная рабочая сила,— быки же, несмотря на просьбы калмыков, не были куплены... Не принесли эти шуги пользы также и делу заведения общественных запашек опять-таки по той простой и вполне понятной причине, что не было приобретено общественных быков или лошадей, а без них странна и попытка уравномерить участие всех калмыков в труде обработки земли для посева общественного хлеба, если не перевести это участие на деньги. Но тогда не проще ли и не справедливее ли было бы заплатить за распашку земли, посев и уборку *общественного хлеба,* взыскать деньги с калмыков и *считать, что произведена общественная запашка: в таком-то роде столько-то десятин, а в таком-то столько-то?..* В действительности так оно и есть, с тою только незначительной поправкой, что израсходованные на такую *запашку* деньги взыскиваются — *не чинами улусного управления, а как будто бы секретно от них — родовыми старшинами.* Разумеется, последнее ни для кого не секрет, но... все молчат, ибо кому-то для чего-то нужно, чтобы у калмыков была общественная запашка, а как она производится, это не попадает на страницы отчетов о ней...

Итак, резюмируя сказанное нами в этой главе, еще раз подтвердим, что, если желательно, чтобы калмыки сделались земледельцами, и тем вышли бы из своего крайне нищенского положения, то, по нашему убеждению, основанному на фактах, необходимо: во-первых, и, главным образом, объявить им, что *отведенная им под оседлое поселение земля составляет их неотъемлемую собственность, которою каждый из них самостоятельно может распоряжаться на правах общинного владения и доходы имеет право получать прямо в свои руки, и не из рук таких чиновников, как главный пристав и др.; предоставить калмыкам право лично входить в соглашения с крестьянами относительно обработки пахотных и покосных паев и не вмешиваться в их счеты и расчеты, раз они не нарушают общезаконных требований и договаривающиеся стороны не желают обращаться к посредничеству улусного управления.* Во-вторых, — *прийти на помощь калмыкам отпуском из их же ''общественного калмыцкого капитала'', коего более двухсот тысяч рублей, необходимых средств на приобретение сельскохозяйственного инвентаря и животной рабочей силы и следить за тем, чтобы приобретенное не растрачивалось; но отнюдь не стеснять свободы пользования и орудиями, и быками или лошадьми, ибо сам народ всегда справедливее канцелярий сумеет урегулировать способы пользования ими.* Выполнить все это легко, так как средства к тому есть более чем достаточные. Иначе же калмыки, без особенно счастливой какой-либо случайности, не смогут выбиться из распутья, не избавятся от нищеты, не приохотятся к земледельческому труду, а напротив, окончательно обнищают и Больше-Дербетский улус обратится в гнездо всяческих преступлений, сделается рассадником преступников и язвой для окружающего его населения. Вглядываясь в ''просветительную'' деятельность заправил Больше-Дербетского улуса, в их способы ''насаждения земледельческой культуры среди калмыков и поднятия экономического положения народа'' — невольно припоминаешь справедливое замечание М. Е. Салтыкова, сказавшего, что ''человек науки прежде всего требует азбуки, потом складов, четырех правил арифметики, таблицы умножения и т. д. Ташкентец же во всем этом видит неуместную придирку и прямо говорит, что останавливаться на подобных мелочах — значит спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Он создал особый род просветительной деятельности — просвещения безазбучного, которое не обогащает просвещаемого знаниями, не дает ему более удобных просветительных форм, а только снабжает известным запахом''. Не сравнивая ''калмыцкой администрации'' с ''господами ташкентцами'', мы только скажем, что представители ее, ''просвещая'' калмыков, начинают не с *азов...* и, вопреки поговорке, думают, что ''с тяп-ляп выйдет корабль'', почему и ''ломают'' все по-своему и верят в животворящую силу предписаний и приказов...

Популярное издание

Дуброва Яков Павлович

**БЫТ КАЛМЫКОВ
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ**

Редактор *А. В. Задорожная*
Художественный редактор *С. Э. Котинов*
Технический редактор *Л. Е. Гермашева*

ЛР № 010037
ИБ № 1599

Сдано в набор 12.01.98. Подписано в печать 17.04.98. Формат 84 x 108/32.
Бумага офсетная № 2. Гарнитура Tierse. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 9,66. Усл. кр.-отт. 9,66. Уч.-изд. л. 11,88.
Тираж 1000 экз. Заказ 1138. ''С'' 001.

Калмыцкое книжное издательство,
358000, г. Элиста, ул. Ленина, 243, Дом печати.

АПП ''Джангар'' РК, 358000, г. Элиста, ул. Ленина, 245.

Дуброва Я. П.

Д 797 Быт калмыков Ставропольской губернии. / Предисл. М. М. Батмаева. — Элиста: Калм. кн. изд-во, 1998. — 181 с. (Серия ''Наше наследие'').

ISBN 5-7539-0378-9

Труд Я. П. Дубровы издается впервые, в журнальном варианте он вышел в 1899 году. Труд состоит из краткого экскурса в историю калмыков, этнографических заметок и описания хозяйственно-бытового и административного положения калмыков Большедербетовского улуса в конце XIX века.

Издание адресовано широкому кругу читателей.

Д $\frac{0503020300 - 001}{М\ 126(03) - 98}$ 2 — 98 ББК 63.3(2)5